

SELECTA

XII

SELECTA. Программа серии гуманитарных исследований, 2003–2012

1. *О. Р. Айратетов.* Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию. 1907–1917. М., 2003.
2. *В. А. Козлов.* «Где Гитлер?» Повторное расследование НКВД–МВД СССР обстоятельств исчезновения Адольфа Гитлера. 1945–1949. М., 2003.
3. *В. И. Молчанов.* Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания. М., 2004.
4. *Кирилл Шевченко.* Луицкий вопрос и Чехословакия: 1945–1948. М., 2004.
5. *Кирилл Шевченко.* Русины и Чехословакия: 1919–1939. К истории этнической инженерии. М., 2006.
6. *Ирина Глинка.* Дальше — молчание... : Автобиографическая проза о жизни долгой и счастливой. 1933–2003. М., 2006.
7. *И. В. Дубровский.* Институт и высказывание в конце Римской империи. М., 2009.
8. *Вугар Н. Сеидов.* Архивы Бакинских нефтяных фирм (XIX–начало XX вв.). М., 2009.
9. *Ю. А. Наумова.* Ранение, болезнь и смерть: русская медицинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг. М., 2010.
10. *Ольга Эдельман.* Следствие по делу декабристов. М., 2010.
11. *Горан Милорадович.* Карантин идей: лагеря для изоляции «подозрительных лиц» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в 1919–1922 гг. М., 2010.
12. *И. В. Дубровский.* Очерки социальной истории средних веков. М., 2010.
13. *Л. Ф. Кацис, М. П. Одесский.* «Славянская взаимность»: Модель и топика. Очерки. М., 2010.
14. *В. Б. Каширин.* Взятие горы Маковка: неизвестная победа русских войск весной 1915 года. М., 2010.
15. *Анна Резниченко.* О смыслах имен: от философии языка — к языку философии. Русский контекст. М., 2011.
16. *М. А. Колеров.* Труд и война: военнопленные в экономике СССР (1944–1949). М., 2011.
17. *Украина в 1918 году: сборник воспоминаний.* М., 2011.
18. *Сборники «Малая Русь» (1918): репринт и исследование.* М., 2011.
19. *Алексей Тимофеев.* Партизаны, четники, комиты: Один век повстанческих традиций Западных Балкан. М., 2012.
20. *Кирилл Шевченко.* Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины (XIX–1 пол. XX вв.). М., 2012.
21. *Брюс Меннинг.* «Пуля — дура, штык — молодец»: Русская императорская армия, 1861–1914. М., 2012.
22. *М. А. Колеров.* Измена: «Вехи» и коммунизм: очерки по истории русской мысли (1918–1923). М., 2012.
23. *М. Йованович.* Над обломками Академии: Русский научный институт в Белграде (1928–1941). М., 2012.
24. *М. М. Шевченко.* Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг. как проблема внутренней политики и стратегии России. М., 2012.

В 2012 году издание серии прекращается

И. В. Дубровский

ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Москва
REGNUM
2010

УДК 94 «04/14»
ББК 63.3 (0) 4-2г
Д 79

Памяти Аллы Львовны Ястребицкой

Серия SELECTA
под редакцией М. А. Колерова

Д 79 **И. В. Дубровский.**
Очерки социальной истории средних веков. М.: Издательский дом
«Регнум», 2010. 164 с. (SELECTA. XII)
ISBN 987-5-91887-006-8

УДК 94 «04/14»
ББК 63.3 (0) 4-2г

ISBN 987-5-91887-006-8

© И. В. Дубровский. Текст
© С. Зиновьев. Оформление серии
© Е. Бороздинская. Оформление обложки

Предисловие

Работа с историческими документами может приносить плоды большой человеческой важности. Условием этого выступает правильная перспектива. Недоверие к истории сегодня питается пониманием шаткости общих картин. Действительно, история не является достоверным учением о прошлом и не обещает стать им. Но это значит только то, что на нее не нужно возлагать таких надежд. Если «исторический синтез» выглядит утопией, это не умаляет ценности тех знаний о прошлом, которые мы можем получить. История является практикуемой исследовательской практикой и должна приниматься и оцениваться как таковая. То же можно сказать о пресловутой проблеме «исторического метода». Каждый вклад в сферу человеческого опыта совершается благодаря усилиям отдельного человека. Это всегда своеобразный сплав личного и объективного. Действия исследователя в существенной мере организованы некими принципами. Их можно уяснить, но ими трудно воспользоваться, так как они составляют часть практического умения и неотделимы от него. Они и есть это практическое умение. После Томаса Куна мы точно знаем, что работа в науке не предполагает коллективного «научного метода», а строится на «хороших примерах» научной работы. Проще говоря, надо читать книги, чем я и занимаюсь. Интерес может быть разный. Одни работы увлекают необычным материалом. В другой раз возникает желание обсудить работу историка, порадоваться чему-то или с чем-то поспорить, проговорить какие-то вещи. Часто ясность — это вопрос хорошего примера. Мне остается добавить, что текст по археологии озера Паладрю — рецензия из «Одиссея, 1997» (М., 1998); лекция «Как я понимаю феодализм» впервые напечатана в книге «Конструирование социального» (М., 2001); остальные тексты написаны за последние два года, и некоторые публиковались в журналах «Средние века» и «Пушкин».

РЫЦАРИ-КРЕСТЬЯНЕ ИЗ ОЗЕРА ПАЛАДРЮ

Colardelle M., Verdel E. Chevaliers-paysans de l'an Mil au lac de Paladru. P., 1993; Colardelle M., Verdel E. (Dir.). Les habitats du lac de Paladru (Isère) dans leur environnement: la formation d'un terroir au XIe siècle. P., 1993. (Documents d'archéologie française, n. 40).

Наше восприятие средневековья в немалой степени навеяно теми представлениями, какие составили себе о своем мире и обществе немногие образованные современники. Освобождению истории от почти фатального следования заложенным в изучаемых текстах моделям понимания социальной действительности помогает археология. Новизну света, который проливает история рыцарей-крестьян из озера Паладрю на один из важнейших моментов истории Европы, при желании можно приписать микроисторическому масштабу, свойственному археологии вообще. Так или иначе, работа французских археологов заставляет историков еще раз задуматься над теми понятиями, которыми они оперируют.

Результаты исследования представлены в двух публикациях — традиционно обстоятельном археологическом докладе и книге, адресованной более широкой аудитории. Хотя обе они вышли в одном году, последняя включает новый материал и новые акценты в его интерпретации.

Результаты эти таковы, что, «взвешивая свои слова», Робер Фоссье отзывается о них как о «лучшем во Франции примере средневековых раскопок, о котором историк может только мечтать». Двадцатилетнее исследование уникально во всем. Его объектом стало небольшое поселение на берегу озера Паладрю, в Нижнем Дофине, основанное в 1003 или 1004 году и три десятилетия спустя, примерно в 1035 году, затопленное поднявшимися водами. Раскопки дают, по сути, моментальный снимок жизни колонистов. Поселение располагалось на ограниченной территории уходящего в озеро древнего мыса, что позволяет считать завершённые теперь раскопки исчерпывающими. Ушедшее под воду, оно не сгорело и не было разграблено, не претерпело существенного перемещения культурного слоя. В лишенной кислорода водной среде, с редкостными физико-химическими характеристиками, органические остатки, в том числе дерево, кожа, временами ткань, практически не разлагались. Исследование стало событием в развитии подводной археологии, до недавнего времени остававшейся скорее сбором материала, нежели настоящими стратиграфическими раскопками. Возвращая слову «экология» его прямой смысл, оно также включило комплексный анализ всей древней экосистемы, в которой существовало поселение. Столь же

пока ново для средневековой археологии предпринятое авторами сплошное археологическое обследование обширной территории окрестностей озера.

Поселение некогда представляло собой два, позднее три больших строения, занимавшие значительную часть обнесенного четырехметровым забором пространство суши, примерно 47 на 24 м. Центральная постройка, двух- или трехэтажная, увенчанная наблюдательной вышкой, могла достигать в высоту 14 м. Ее основное внутреннее помещение — квадрат со стороной 10,5 м и огромным очагом в центре. Два другие строения несколько меньше, однако того же типа. По мнению археологов, в каждом из них располагалась отдельная супружеская семья со своими рабами и скотиной. Судя по инвентарю, семьи почти не различались между собой занятиями и образом жизни. Общая численность колонистов была не меньше 40, впоследствии — 60 человек. Люди спешно ушли отсюда, оставив многие вещи. В руки исследователей попал материал, по-видимому, достаточно полно рисующий быт поселенцев. Почти неправдоподобным кажется обилие потерянных или сломанных за жизнь одного поколения предметов — в частности, 150 ложек, столько же гребней, 300 веретен, 200 ножей. О роли дерева в деревянной цивилизации средневековья историки слышаны, однако это надо видеть. Количество поднятого со дна озера железа поистине беспрецедентно и плохо согласуется с существующим представлением о его редкости и дороговизне. Еще более впечатляют разнообразие и характер сделанных находок.

Они демонстрируют «необычайно полную панораму агротехнических и ремесленных практик людей той эпохи». Агрικультура являлась одной из основных составляющих многоотраслевого хозяйства колонистов. Пахотные орудия, плуги или сохи, жители, вероятнее всего, унесли с собой. Другой сельскохозяйственный инвентарь представлен среди находок в широком ассортименте. Это заступы, тяпки, разного назначения серпы и секаторы, лопаты. Ржаной клин дополняли такие малорентабельные и требовательные культуры, как пшеница, хлеб богатых, и необходимый для лошадей овес. Пионеры не сводили лес без разбора. Он давал лесные орехи, каштаны, желуди, дикие яблоки и вишню, малину и землянику — особенно в первое время, пока не стали плодоносить собственные посадки яблок, персиков, слив, груш. На огороде росли бобы, горох, чечевица, а также лен и конопля. Наряду с земледелием, жители прибрежного поселка активно занимались рыболовством. Третьим важнейшим элементом хозяйства археологи называют грамотно поставленное животноводство, свиноводство по преимуществу. Построенная на широком использовании всех доступных природных ресурсов и рациональной организации всех отраслей, экономика поселения предполагала их оптимальное сочетание, гасившее сезонные колебания в обеспеченности колонистов пищей.

Поселение сооружено по единому плану, с учетом особенностей грунта и исключительным знанием дела. Жители озера Паладрю были не только опытными строителями, но и замечательными плотниками и столярами. Они разборчивы в выборе материала, отличая свойства древесины 27 пород. Плотницкий и столярный инструмент включал 5 топоров, рубанок, бурава, стамески, пилки. Бочар мастерил бочки, ведра, бадьи. Корзинщик плел корзины. Документированность домашнего ткачества приятно удивляет обилием деревянных приспособлений для первичной обработки льна. О сапожном ремесле говорит не только наилучшим образом сохранившаяся кожаная обувь, но также сапожные колодки и прочий инструмент — пробойники, шила, ножницы. Он годился и для шорника и седельника, образцы продукции которых — узды, недоузки, подпруги, седло — есть среди находок. Кожа, в том числе самого высокого качества, выделывалась здесь же и, помимо того, шла на изготовление поясов, ремней, ножен. Археологам достались три молотка, 120 подков и многие тысячи гвоздей к ним. Зато кузнечного инструмента жители не оставили. На месте кузницы обнаружены только кварцитовая наковальня, шлак и заготовки. Кузнецы демонстрировали прекрасное владение всеми сложными техниками своего ремесла и использовали их с большим разбором.

Отсутствие сколько-нибудь заметной хозяйственной специализации, разделения труда хотя бы между домами никак решительно не отражалось на высочайшем технологическом уровне всех изделий, инструментов и операций.

Почти все найденное в Паладрю произведено на месте. Ввоз из долины Роны практически исчерпывался некоторыми редкостными лакомствами, такими как тыквы, миндаль, фиги, а также посудой, железной рудой, оловом и солью. О торговле или уплате каких-либо натуральных оброков можно с уверенностью судить по некоторым диспропорциям в животных останках. Они выдают вывоз сазанов, свинных и бараньих окороков, вероятно, в соленом или вяленом виде. Очевидно, успешная хозяйственная деятельность и торговля продуктами питания были источником растущих материальных ресурсов жителей. Число найденных монет, 32 денье и обола, главным образом с монетных дворов Вьены и Лиона, неизмеримо велико — если иметь в виду, что это потерянные деньги. Ощутима и динамика обогащения — больше монет теряли к концу истории поселения. О торговле, кроме того, могут свидетельствовать предметы, явственно обнаруживающие значение числа и счета в жизни колонистов, — меры для зерна, меры длины, деревянные приспособления для счета.

В неожиданном свете предстают перед исследователями духовные запросы и досуг поселенцев. Если не брать в расчет немногие изображения

креста в геометрических узорах, украшающих гребни и пряжки поясов, а также кресты на монетах и гончарных клеймах, находки археологов ничего не говорят о религиозных представлениях прежних хозяев. Впрочем, отмечают авторы, культовая утварь могла быть вынесена из гибнущего жилища в первую очередь. Зато жители берега Паладрию знают грамоту и используют ее. Доказательства тому — деревянный стиль и инициал владельца, вырезанный на одной из кленовых мисок. Выполненные на токарном станке, они привозные. Удивительно разнообразная и многочисленная посуда рассказывает о том, как была обставлена трапеза. О домашних праздниках и посиделках также дают представление настольные игры — множество деревянных и костяных шахмат, игральные кости и жетоны для игры в триктрак — и музыкальные инструменты. Последние менее всего напоминают какие-нибудь примитивные глиняные рожки или свистульки. Это флажолеты, флейты, язычковые инструменты типа гобоя, соединенный с волынкой кларнет. Ударные представлены очень искусно сделанным тамбурином, струнные — подобием виол. Реконструкции свидетельствуют о высоком качестве их звучания. Изготовление таких музыкальных инструментов и игра на них, как все, что делали жители поселка, требовали настоящего профессионализма.

Из детских игрушек наибольшего внимания, очевидно, заслуживает крошечный арбалет. Ребенок подражал взрослым. 50 арбалетных наконечников найдено французскими археологами. Если судить по ограниченному количеству костей дичи, едва ли это было оружие охоты. Помимо того, имеются небольшие тисовые луки, наконечники стрел и метательных копий. Все это еще можно счесть обычным крестьянским вооружением. О следующих находках, сделанных на дне Паладрию, этого не скажешь. Речь идет о великолепном боевом топоре, какие до сих пор были известны только по иконографии, массивном копье, безусловно предназначенном для конных ристаний, а также элементах кольчуги и панциря. Подобное оружие теряют не часто, оно передается из поколения в поколение или по мере надобности перековывается. Целого меча поселенцы не обронили, зато на единственной внутри укрепления незастроенной площадке археологи обнаружили осколки мечей — свидетельство военных упражнений жителей и еще одного способа времяпрепровождения. Лучшее из найденных украшений, изящная двухцветная эмаль по латуни, предназначалась не мужчине и не женщине, а лошади. Об использовании верховых лошадей говорят множество шпор, луженые удила и другие элементы конской сбруи, упомянутые подковы и особенно искусно сделанное и украшенное седло.

Поселение на берегу озера Паладрию соседствовало с двумя другими поселениями-близнецами. Их хронология, местоположение, размеры, ар-

хитектура близки или идентичны. Сходный инвентарь и палеоэкология позволяют уверенно говорить об их принадлежности «к единому социокультурному и технологическому горизонту». Из числа беспрецедентных находок — два копья еще больших размеров, чем обнаруженное в основном поселении. Возможно, воспоминания об общей участи, какая постигла прибрежные поселки, хранит местная легенда о древнем городе, ушедшем под воды озера. Запечатлевшаяся в памяти на тысячелетие катастрофа отвратила колонистов от злосчастных берегов? В ближайших окрестностях Паладрию исследователи насчитывают шесть или семь земляных укреплений, датированных XI веком. Два из них, примерно в километре от поселения, неплохо изучены археологически. По некоторым данным можно заключить, что они были заселены после оставления жителями прибрежных поселений — судя по всему, столь же непродолжительный срок, до третьей четверти XI века. Следы сельскохозяйственных и ремесленных занятий в них все еще сосуществуют с поставленным на широкую ногу военным делом конных хозяев. «Типологическое единство и сходство инвентаря земляных укреплений и прибрежных поселков поразительны».

Не располагая письменными свидетельствами, мы не знаем, как мог быть охарактеризован статус поселенцев и занимаемых ими земель. Являются ли они людьми некоего могущественного лица, властвуют ли сами, очевидно то, что поселенцы ни в ком и ни в чем особенно не нуждаются. Они живут на всем своем и, похоже, осмысленно к этому стремятся. Небедствующие пахари, огородники, скотники, рыбаки, при деньгах и наилучшем хозяйственном инвентаре, мастера на все руки, владеющие столькими ремеслами, столь же профессиональные воины, грамотные и досужие игроки и музыканты, жители берега Паладрию, кажется, мало напоминают «крестьян и других бедняков», которых соборы божьего мира того «железного века» относят к числу «безоружных»¹. Авторы сравнивают своих героев с *villani-caballarii*, упомянутыми на соборе в Ансе в 1025 году, и этот оборот выносятся ими в заглавие одной из книг.

Своеобразие быта поселенцев озера Паладрию известные французские археологи М. Коларделль и Э. Вердель соотносят с распространением, незадолго до того, на долину Роны суверенитета германских императоров. Действительно, о северо-востоке континента заставляет вспомнить не только архитектура, столь отличная от всего известного в Средиземноморье. Исследователи отмечают «тесное родство, если не абсолютное сходство»

¹ О крестьянах на территории современной Франции около 1000 года см.: *Bonmassie P. From one servitude to another: the peasantry of the Frankish kingdom at the time of Hugh Capet and Robert the Pious (987–1031) // Bonmassie P. From Slavery to Feudalism in South-Western Europe. Cambridge, P., 1991. P. 288–313.*

многих элементов культуры прибрежного поселения с германским, англо-саксонским, скандинавским, польским, русским материалом. Ближайшие параллели небывалому для французской археологии соединению военной активности и других атрибутов аристократического образа жизни с сельскохозяйственным и ремесленным производством происходят из Гессена, Тюрингии, Рейнланда. Впрочем, вероятно, сама описанная модель дома и экономики не столь уж экзотична и для романской Европы конца первого тысячелетия. «Если полная автаркия и невозможна, каждый стремится к тому, чтобы из года в год получать от земли необходимое для удовлетворения своих нужд... И несмотря на видимое значение торговли сельскохозяйственными продуктами, этот идеал остается всепроникающим: всякий человек — более или менее крестьянин, даже шателен... Все трудоспособные люди, какое бы положение в обществе они ни занимали и сколь бы ни были обширны их владения, предпочитают лично управлять обработкой своих земель; у них своя скотина, свои плуги... По своим вкусам и интересам все немного крестьяне»².

Исследование пополняет небогатую археологию времени стремительных и радикальных изменений во многих областях жизни средневековых обществ. Важнейшие связаны с экономическим ростом Европы до и после 1000 года, в котором видят предпосылку и двигатель перемен, и становлением — взамен разрушающейся власти территориальных князей, в нашем случае носящих столь характерные прозвища бургундского короля Родольфа III Ленивого и морьенского графа Гумберта Белоручки, — баналитетной сеньории.

Об увеличении обрабатываемых площадей говорит сам факт заселения в этот период удаленных от региональных центров гористых территорий, прежде малопривлекательных в хозяйственном отношении «холодных земель», как по сей день называют Нижний Дофине. На пустынных берегах Паладрю возникли сразу три поселения. Вероятно, возрастает и численность их обитателей — если только так следует понимать возведение со временем третьего жилища. Давление демографии, относительную перенаселенность старопахотных земель полагают одной из причин волны внутренней колонизации. Переселение с насыщенных мест, трудоемкие расчистки каменистых суглинков окрестностей Паладрю не означали выживание нищеты. Колонисты бегут не от бедности, а за богатством, богатеют на глазах. Нет оснований числить среди предпосылок экономического преуспеяния некие усовершенствования в технике. Жители располагают лучшим и самым разнообразным хозяйственным инвентарем, однако ни о каких техниче-

ских новшествах говорить не приходится. Источник их благополучия авторы усматривают в другом. Ряд исследователей устанавливает зависимость хозяйственного подъема того времени от благоприятных, особенно для зернового производства, климатических изменений. Для Паладрю это нечто большее, чем соблазнительная гипотеза. Само озеро, природный плювиограф, уникальный источник по естественной истории региона, свидетельствует о том, что в середине X и начале XI веков микроклимат действительно стал теплее и суше. Воды отступили. Новое изменение ситуации, повлекшее подъем уровня вод, допустимо сопоставить с описанными Раулем Глабером катастрофическими ливнями 1033–1035 годов. Возможно, весомы были и другие причины. Судя по всему, колонизация берегов Паладрю привела к нарушению хрупкого природного равновесия.

Историю прибрежных поселков и земляных укреплений первой половины XI века авторы желали бы связать с процессом складывания в окрестностях Паладрю новой организации локальной жизни и территории, ключевыми элементами которой станут сеньориальные замки. Ее очертания яснее обозначились на рубеже следующего, XII столетия. К несчастью, об этом периоде региональной истории мы хуже всего информированы. Идея заключается в том, что складывание баналитетной сеньории сопряжено с новым этапом общественного разделения труда. Одни сохраняют за собой военную функцию, обретают власть (бан), другие, занятые агрикультурой и ремеслом, берут на себя содержание воинов. Такая дифференциация социальных ролей выводит локальное общество из атомарного состояния, влечет за собой его интеграцию под сенью сеньориального замка. В хозяйствах земляных укреплений французские археологи видят предков состоявшихся или несостоявшихся шателенов, а в самой колонизации берега Паладрю — «прелюдию феодальной революции» в регионе.

М. Колардель и Э. Вердель твердо намерены «держаться эпохи и общепринятых схем социально-экономической организации». Справедливо будет заметить, что о социальной революции археология Паладрю не свидетельствует. Вместо того, чтобы идеально вписываться в расхожие рамки социального анализа, материал обнаруживает их неполноту. Если потомкам обитателей раскопанных поселений когда-нибудь суждено стать большими рыцарями или большими крестьянами, это должно быть сопряжено с преобразованием дома, «основополагающей социальной структуры всех крестьянских и крестьянско-аристократических культур»³. Находки Паладрю демонстрируют, как это трудно себе представить.

² DUBY G. La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise. P., 1988 (1953). P. 54, 77.

³ Brunner O. Das «ganze Haus» und die alteuropäische «Ökonomik» // Brunner O. Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. Göttingen, 1968. S. 103–127.

КАК Я ПОНИМАЮ ФЕОДАЛИЗМ

Reynolds S. Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford, 1994; Duby G. La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise. P., 1953; Giordanengo G. Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphine, XIIe — début XIVe siècle. Roma, 1988.

Я озаглавлю свое сообщение: «Как я понимаю феодализм». Что делать с этим понятием — вопрос, так или иначе встающий перед многими. Я не исследователь данного предмета, а читатель чужих книг. Думаю, в этой аудитории есть более компетентные люди. Я же могу поделиться некоторым опытом наведения порядка в собственных представлениях.

В глазах поколений историков феодализм являлся основополагающим понятием общественного быта средневековья. Несравненно меньше единства было и остается в вопросе о том, что под этим следует подразумевать. Хотя понятие кажется сегодня изрядно дискредитированным, и в особенности затруднительно описывать так феодальные средневековые общества в целом, немало исследователей придерживается мнения, что у слова «феодализм» есть более узкое, техническое значение, в котором его использование оправдано. По распространенному предположению, на эту роль лучше всего годится то, что в разных национальных традициях именуют фео-вассальными (ленными) институтами или отношениями.

Я позволю себе развернутую ссылку на книгу оксфордского профессора Сьюзен Рейнольдс 1994 года «Фео-ды и вассалы». Наделавшая много шума, эта работа, видимо, все же не открывает Америки; с моей точки зрения, она повествует о том, о чем медиевисты знают или догадываются. Более того, достаточно работ, известных и не известных Рейнольдс, написанных подчас многие десятилетия назад, где понятие феодализма, феодальных институтов развертывается в том здравом смысле, на котором настаивает английская исследовательница. А именно: распространение феодальных институтов связывается не с разложением раннесредневековых монархий, но, напротив, — с прогрессивным укреплением королевской и княжеской власти после XII века, с процессом политического подчинения мира сеньоров новым политическим лидерам средневекового Запада. Но меня сейчас интересует критическая часть книги Рейнольдс.

Правда то, что банальная эрудиция по сей день внушает совсем иные представления о феодализме в этом «узком смысле слова». Рейнольдс задается целью сопоставить данные источников об отношениях власти и собственности в средние века с понятиями фео-да и вассалитета, какие в ходу у боль-

шинства историков. В ее поле зрения последовательно попадают материалы по средневековой истории Франции, Италии, Англии, Германии и попутно с ними — сепаратные национальные традиции толков о феодализме. Автор желала бы решить, в какой мере феодал и вассалитет, как их обычно понимают, составляют институты, исполненные того значения, которое им приписывается. Выводы Рейнольдс не страдают неопределенностью. По ее мнению, расхожее понимание феодализма как альтернативы государственного порядка более связано с историографической традицией, нежели опирается на верифицируемое прочтение источников.

Мысль Рейнольдс заключается в следующем. Рассмотрение феодализма в узком значении феодального права было предопределено трудами ученых-февдистов XVI века, которые извлекли из небытия составленную в Ломбардии в XII–начале XIII века компиляцию *Libri feudorum*, где говорилось о праве собственности, называемой феодалом, держатели которой именовались вассалами. Это средневековое схоластическое феодальное право, далекое от жизни и правовой практики, утверждает Рейнольдс, — скорее однофамилец, чем родственник того феодального права, которое развилось в Новое время под флагом его рецепции. Февдистам XVI века было естественно предполагать, что благородная собственность всегда называлась феодалом, ибо так было в их время. Памятник, казалось, позволял составить представление о происхождении феодалов — из пожалований за военную службу, ставших наследственными. Помимо актуальных вопросов современности, *Libri feudorum* помогли осмыслить истоки национальной истории и социальную эволюцию в целом. Феодальное право было возведено в ранг особого вклада германских народов в европейскую историю и культуру. В свидетельствах Тацита о дружинном быте германцев видели раннюю форму вассалитета, тогда как феодал представлялся следствием расселения некогда бродячих германских племен на территории поверженной империи. В дальнейшем между этими двумя фазами вырисовался период алодиальной собственности, в продолжение которого знать имела земли на полном праве. Введение феодалов было отсрочено до времени Каролингов. Общая структура рассуждения выдержала все подновления, и вслед за феодальным правом скоро заговорили о феодальном правлении и феодальном обществе. Монтескье, Адам Смит, Маркс, более следуя этой древней традиции, чем современной им историографии, утвердили взгляд на средние века как на определенную стадию истории, время феодализма.

Рассмотренные британской исследовательницей понятия вассалитета и феодала рисуются сугубым творением февдистов Нового времени. Эти историографические окаменелости влекут за собой шлейф архаических представлений о средневековье и обществе в целом. За средневековые понятия

сегодня выдаются структуры интерпретации, изобретенные в XVI веке и детально разработанные в следующем столетии. Антиквары Нового времени меньше нашего были осведомлены в истории средних веков и хуже себе представляли, как может быть организовано общество вообще. Тем не менее именно с их легкой руки феодал и вассалитет имеют репутацию архетипических форм землевладения и социального долга представителей господствующего класса средневековой Европы.

Вера в непогрешимость модели и историографический канон истолкования того, что в нее не вписывается, как местной специфики, не умаляющей правила, во многом выводят проблематику феодализма «в узком смысле слова» за рамки актуальной исторической критики в область несколько туманных историографических слухов. Возможно, в числе причин неуязвимости того, что автор называет «феодальной парадигмой», — сама архаичность модели анализа. Большинство рассмотрений феодала и вассалитета фактически утверждает идентичность употребленного в источнике слова понятию, наших понятий — средневековым, слов и понятий — вещам. В предположении, что слова устойчиво представляют понятия и вещи, исследователями берутся траектории слов. Их многозначность — ни для кого не секрет. Подразумевается, однако, что слова обладают некими основными, существенными значениями, разделяемыми всеми в первую очередь. Нет нужды говорить, сколь это спорно. В контексте отношений власти и собственности, точные и устойчивые определения могли бы исходить от правоведов, однако это не случай средневекового обычного права, делавшего попросту невозможной унифицированность словаря и его значений. Вырывавшееся из железных объятий живой жизни — временами в область бесплотных абстракций — более синтетическое спекулятивное правоведение отчасти влекло за собой такую унификацию, но вместе с ней — усугубляющиеся расхождения между разными правовыми системами. Средневековые нотариусы и их клиенты едва ли придавали словам феодального лексикона ту символическую силу, какую отождествляют в них современные исследователи, будучи скорее сами подвержены магии поименования. Анализ минует главное. Ориентация на отыскание институтов уведит от рассмотрения конкретных систем власти и правопорядка, которыми и обусловлены права и обязанности людей.

Особенно разрушительной критике Рейнольдс подвергает идею вассалитета. Представление о вассалитете сложилось в те историографические времена, когда за средними веками отрицали политическую власть и всякое понятие о публичном. Идея *res publica* казалась тогда исключительным достоянием римской цивилизации, чуждой и слишком сложной для варваров. Предполагалось, что между падением Римской империи и возникновением

современных государств Европа впадает в состояние «феодальной анархии», когда частные связи личной верности остаются единственным паллиативом правопорядка. Стереотип феодало-вассальных институтов по сей день мешает в полной мере оценить публично-правовые основы общественной жизни средневековья. Историки слишком охотно рассматривают короля как высшего сеньора, ибо это согласуется с их представлением о феодализме — хотя и трудно доказуемо для большинства королевств во многие периоды. Рейнолдс полагает, что понятием вассалитета нередко стремятся описать нормальные отношения между правителем и подданными.

Даже в сочинениях позднесредневековых юристов, по утверждению Рейнолдс, оторванных от жизни и правовой практики, замечания о вассалах и вассалитете не подразумевают те нормы и ценности, которые всплывают в трудах февдистов Нового времени. Для основополагающих категорий социальных взаимоотношений в средние века они обсуждаются слишком вяло и формулируются недостаточно эксплицитно. Средневековое феодальное право не истолковывает связь между сеньорами и их вассалами в терминах поземельных отношений. Держать феодал еще не означает быть вассалом — и наоборот. Пресловутое «соединение институтов вассалитета и феодала», поставленное исследователями в начало феодализма, принципиально не доказуемо. В многосложном мире у человека много поводов чувствовать себя обязанным. Мысль об изначально единственном сеньоре и лишь последующей профанации этой идеи в период, для которого доподлинно известно обратное, можно объяснить только нежеланием вникнуть в реально существующий политический пейзаж. На место старинного романтического верования в сугубо личный, добровольный, договорный характер вассалитета, автор ставит идею коллективных и имплицитных соглашений, оставляющих той и другой стороне мало пространства для маневра. Априорным ей кажется мнение, что вассальные службы — прежде всего военные, а военные люди — по преимуществу вассалы в том смысле, какой обычно вкладывается в слово «вассал». Едва ли не все средневековые общества отличаются развитое социальное неравенство и авторитаризм, однако представления о вассалитете как роде отношений в среде поставленной над простонародьем знати подразумевает наличие в обществе разграничительной линии, которую в действительности бывает очень трудно провести.

Не подвергая сомнению значение личных связей в средние века, Сьюзен Рейнолдс, тем не менее, убеждена в необходимости положить предел стремлениям втиснуть все их в монолитную концепцию вассалитета. Последняя напоминает автору черную дыру. Под вывеской вассалитета проходят несопоставимые природы и нормы отношений между правителем и подданным, патроном и клиентом, землевладельцем и держателем, нанимателем и слу-

гой, военным предводителем и солдатом. Трудно предполагать наличие их универсального правила. Если желать продвинуться в понимании сути дела, надо оставить слово «вассалитет» и изучать конкретные системы межличностных и коллективных отношений и ценностей. В широком спектре служб играет роль не материализующаяся идея вассалитета, а статус сторон, социальная дистанция между ними и то, что им друг от друга нужно.

Разговор о феоде кажется, по крайней мере, более предметным. Между тем нет никакой возможности и смысла рассматривать бенефиции каролингского времени и феодалы XIII–XIV веков как воплощения одного института, коль скоро они существуют в таких разных правовых и политических контекстах. От понятий, описывающих, скажем, Францию около 1300 года, мало толку при рассмотрении западноевропейских обществ тремя или четырьмя столетиями раньше. История феодализма «в узком смысле слова» видится автору не столько органическим развитием неких традиционных ценностей и отношений, сколько их палимпсестом.

На истории феодала и феодального права я хочу специально остановиться. Как я уже сказал, проблематика феодализации, княжеской и королевской, объектом которой после XII века сделалось сеньориальное общество, обладатели сеньориальных замков, до тех пор предоставленные сами себе, имеет прямое отношение к вопросу о сеньориальной революции около 1000 года. Надеюсь, по завершении моего выступления это стремление начать с конца не покажется лишенным смысла. Естественно мое предпочтительное внимание к Южной Франции, тому региону, который впоследствии стал южной половиной Франции, поскольку именно здесь сеньориальную революцию искали наиболее систематически и находили особенно часто.

Позволю себе напомнить некоторые вехи семантической истории слова «феодал» на протяжении раннего средневековья. Древнейшие засвидетельствованные формы слова в германских языках обозначают богатство, сокровище, деньги, движимое имущество, скот — в языке готской Библии Вульфилы IV века или в древнеанглийском «Беовульф», который восходит к рубежу VII и VIII веков. То же слово, видимым образом минуя семантическую эволюцию латинского средневековья, дает в новых языках, в частности нем., Vieh, «скот». Семантика впервые встречающегося в «Песне о Роланде» (конец XI века) старофранцузского feu или fiet, напротив, стоит в более тесной связи с латинскими словоупотреблениями. (Форма fief утвердилась во французском с XIII века.) В латинских текстах feo, fevum или feus встречается в грамотах, происходящих из Санкт-Галлена (конец VIII века), Лукки (середина IX века), Магелона (конец IX века). С X века слово распространяется на юге Франции, в Каталонии и Бургундии, особенно активно — нака-

нуне и после 1000 года. Лишь в этот период латинские упоминания феода, до того времени весьма эпизодические, глухие и разноречивые, становятся наконец несколько более многочисленными и информативными. Феод означает некое дарение, вознаграждение, плату. Около 1000 года под феодем все чаще понимаются именно земельные пожалования, хотя и впоследствии слово продолжает употребляться для обозначения денежного или иного содержания, а также более экзотических предметов, вроде права первым броситься на врага, чем в «Песне о Роланде» жалуется племянник король Марсилий. Согласно исследованиям Пьера Боннасси и Элизабет Манью-Нортъе, в качестве земельного пожалования феод нередко подразумевает в это время род собственности, которой наделяются графы, виконты, викарии и другие высокопоставленные представители публичной власти из фонда публичных (фискальных) земель, отчего слово *fiscus* оказывается обычным синонимом феода, а сами пожалования привязаны к административному делению на графства, викарии и затем кастелянства. Хотя такой феод достаточно свободно наследуется и отчуждается, вполне возможно, с ним связано меньше прав и больше обязанностей, нежели с иным землевладением лиц сходного общественного положения. Но чтобы судить об этом, внятных данных нет.

Алод и феод не противопоставляются как некие альтернативные формы землевладения. По меньшей мере, до XII века в целом преобладал единый взгляд на собственность свободных людей. Она предстает неизменно полной (то есть не ограниченной сверх обычных социальных условий ее существования), свободно наследуемой и отчуждаемой. Собственность могущественных лиц объективно более полна и свободна. Маленькому человеку труднее отстаивать свои права. Тем не менее, в принципе, они у всех одинаковы. Все права защищает один обычай, все они подчинены единым или сходным социальным ценностям и контролю. Полная собственность в этот период создавала базу общественного порядка, при котором все другие поземельные отношения играли подчиненную роль. К существующей системе землевладения и социального долга земельные пожалования фактически не добавляли ничего принципиально нового. Если случалось, что с переданной земли полагалась служба, по своему объему и характеру она не отличалась от той, которую несли владельцы унаследованной земли. Когда земля переходила в руки свободного человека, с течением времени ее начинали воспринимать как свою собственную, и обычное право закрепляло эти новые права.

Сеньориальный строй основывался не столько на системе поземельных отношений, как это было в позднее средневековье. Власть существует, так сказать, в чистом виде — не будучи опосредованной поземельными

правами, не выступая в их облике. Власть в этом мире — она и есть власть. Такую систему аристократического господства, основанного на бане (политическом лидерстве), Жорж Дюби в своем исследовании о Маконне (в Южной Бургундии) назвал баналитетной сеньорией.

В обстановке прогрессирующей политической дезинтеграции XI века, которую многие южнофранцузские историки описывают в терминах сеньориальной революции, представление о феоде оказалось поднято на щит крупными церковными землевладельцами. Новый строй власти и правопорядка сеньориальной эпохи вынуждал церковные учреждения систематически заручаться расположением и поддержкой набирающих силу военизированных аристократий, и передачи отдельных владений в управление мирянам были доступным и эффективным способом консолидации и расширения церковных клиентел. Трудность заключалась в том, чтобы не допускать при этом бесповоротного отчуждения церковных имуществ — воспрещенного каноническими установлениями, но вполне реального в свете господствующих в обществе представлений о собственности. Если сила оружия на стороне милитаризованных аристократий, то оружие клириков — истолкование права, и они пускают его в ход, демонстрируя не больше миролюбия, альтруизма, а временами и желания вникать в реалии существующих в обществе правовых систем. Перед лицом болезненных недоразумений мысль о феодальном пожаловании призвана спасти церковное землевладение. Идея особого феодального права, судя по всему, развилась из этой практики управления церковными имуществами.

Другой важный момент его формирования, на который указывает, в частности, Сьюзен Рейнольдс, — развитие правовой теории. Суть перемен в правовой культуре средневековых обществ после 1100 года она понимает как переход от имманентного и разноречивого обычного права раннего средневековья к более эзотеричному и унифицированному профессиональному правоведению последующих столетий. Новый профессионализм стремился рационализировать хитросплетения обычного права, оформить их в более или менее когерентные правила. Впервые в Италии в конце XI века возник новый род правоведов, которые стали изучать документы и выводить из них дистинкции. Помимо прочего, они оказались озабочены выработкой правил и определений, которые объясняли бы практику условных земельных пожалований, называемых феодами.

Данные, которые бы свидетельствовали о распространении феодальных пожалований в среде мирян, до XII века крайне немногочисленны. Зато налицо психологические барьеры, блокирующие или серьезно затрудняющие этот процесс. Линьяжи нервно реагируют на полученный кем-то из родственников феоде, усматривая в том пятнающее их подчинение,

и могут отвернуться от унизившегося. Та же мораль линьяжа воспрещает расточать родовые земли на пожалования посторонним лицам. Линьяжи охраняют наследственные патримонии. К началу XII века феодал, вероятно, имеет некоторое распространение в среде мелкой аристократии, однако и там встречается скорее в особых обстоятельствах. Приберегая родовые земли, в феодал дают спорное — разряжая спорную ситуацию или перекладывая ее на чужие плечи — либо то, что сами держат в качестве феодала от третьих лиц. При семейном разделе понятие феодала может прилагаться к доле какого-нибудь дальнего родственника и в таком случае призвано символизировать определенное единство наследственных земель и контроль над ними со стороны главы линьяжа. При той эпизодической и служебной роли, которая отводится феодалу в социальных взаимоотношениях, он не создает сколько-нибудь единообразных социальных ситуаций и скорее гармонизирует жизнь общества, нежели существенно меняет ее. Это констатировано Жоржем Дюби для бассейна Соны, Андре Дебором для бассейна Шаранты.

Итак, около 1000 года феодалы — это род имущества во владении тех, кого называют *personae publicae*, «публичных», то есть связанных с государственной властью лиц. Около 1100 года феодалы — условные пожалования со стороны церкви, находящиеся лишь слабый отклик в светском обществе. Никогда до XIII века феодал не обозначал собственности знати как таковой; некой особой благородной собственностью до тех пор вообще не существовало. Никогда прежде феодалы не были сколько-нибудь многочисленны. Напротив, по Бомануару, то есть в 80-е годы XIII века, феодал предстает обычной собственностью знатного лица, отличной от других наследственных владений, и все сеньории королевства, прямо или опосредованно, суть королевские феодалы. Новое наименование столь же новой для Запада особой благородной собственности — следствие масштабных изменений в политическом существовании средневековых обществ. С начала XII века принципы восходящего к церковным практикам феодального права освящают реставрацию княжеской и королевской власти. Новый род правовой аргументации упрощает подчинение сеньоров более регулярным обязанностям и более эффективному контролю свыше.

Феодал XII и последующих столетий — нечто принципиально отличное от того рода землевладения, которое называли феодалом прежде, и от прежней собственности знати, которая обычно феодалом не называлась. Он возникает не вследствие реального перераспределения земли. Торжествуют новые правовые определения. Единственный смысл превращения владений знати в феодалы заключается в признании ею нового политического подданства. Ответный жест власти, признание особого статуса благородного землевладения, не столько выдает бессилие последней перед лицом баронов, сколько

ко отражает благоразумно усвоенный способ господствовать над разными людьми, включая людей влиятельных и потому опасных, с которыми стоит считаться. Особые свободы и привилегии даются тем в обмен на клятву верности и некоторый род военной поддержки. У принимающих эти правила игры, очевидно, не было большого выбора. Вместе с тем нельзя утверждать, что феодал изначально мыслился ими более низким родом собственности. Вероятно, само подчинение воспринималось как почетное, поскольку касалось избранного круга лиц. Процесс подобной феодализации создавал в обществе разграничительные линии, какие до той поры едва ли было возможно провести. Сам по себе особый контроль за немногими избранными, недвусмысленно удостоверяя их выдающееся социальное положение, конституирует знать с той мерой определенности, какой не знало предшествующее средневековье. На протяжении XIII века утверждается представление, согласно которому обладание феодалом подразумевает и в череде поколений создает знатность по крови.

Первые известные случаи превращения баронских сеньорий в контролируемые князем феодалы (по-французски *fief de reprise* или по-латыни *feudum oblatum*, «возвращенный феодал») происходят из картулярия сиров Монпелье. Группа документов, датированных 1112–1114 годами, следует единой формуле: некий барон передает свою сеньорию сирю Гильому (V или VI), обычно получая взамен деньги; Гильом возвращает переданное под именем феодала (*ad feudum*) и принимает от того клятву верности. Составленный в 1172 году для графов Шампанских список «феодалов Шампани» включает без малого две тысячи таковых, что трудно приписать тысячекратному повторению аналогичной операции. Скорее налицо стремление графов рассматривать в качестве феодалов все сеньории в пределах своих владений. «Возвращенные феодалы» характерны для ранней стадии процесса феодализации. По мере возрастания власти и престижа принцев нередко имеет место молчаливое признание нового положения вещей без формального акта передачи и возвращения.

Красноречивым примером целостной региональной феодализации может служить развертывание процесса в Маконне. Согласно Дюби, он протекает в заключительной трети XII–первой половине XIII веков одновременно на нескольких уровнях. Последовательная политика феодальной реставрации в Маконне усилиями французских королей Людовика VII, Филиппа Августа и Людовика Святого ведет к установлению королевского контроля над крупнейшими барониями и важнейшими крепостями региона. Сходная стратегия — у консолидирующей свои сеньории аристократии средней руки. В обоих случаях умножение феодалов происходит путем изменения статуса существующих сеньорий, под давлением или за звонкую

монету, и крайне редко — в результате нового испомещения. По сути дела имеет место признание верховных прав сначала в высшем, а затем в среднем этаже аристократии. Баронская собственность эшелонируется в единой системе. Низшие слои рыцарства (те самые, которые некогда калькировали поземельные практики церкви) подобная феодализация затрагивает поздно и в меньшей мере. Первоначально подчиняющиеся бароны, очевидно, мало что теряют из своих прав, но после смерти обладателя феода его наследник вводится во владение через инвеституру. Держание феода обязывает принести оммаж, освящающий конкретные политические договоренности, и эта процедура также повторяется всякий раз, когда феодал меняет своего владельца. Свыше санкционируется всякое отчуждение феодала. В XIII веке обладатель феодала должен был «делать» или «служить» свой феодал (*facere feodum, feodum deservire*). Феодал, который не «служит», может быть конфискован. О конкретном содержании подобного рода феодальных служб, в Моконне и многих других местах, доподлинно известно как раз не многое. Наиболее внятно формулируемые обязательства обладателей феодалов — главным образом негативного свойства: знать свое место и не вредить сеньору.

Феодализация в Моконне выглядит не вполне законченной и не скоординированной в деталях. Тем не менее власть, которой король и несколько крупных баронов обладают над замками и значительной частью земель знати, уже достаточно оформлена и эффективна, чтобы коренным образом изменить условия политической жизни в регионе: подчинить членов высшего класса, шателенов, до той поры не знавших узды и никого в мире, кто мог бы их покарать, некоторой дисциплине, претендовать на разрешение их споров, службу с их стороны и контроль над их замками. Через понятие феодала сеньории, сеньориальная власть в нарастающей мере уподобляется роду землевладения, и, соответственно этому обстоятельству, ту же более явственную поземельную подоплеку приобретают старинные баналитетные прерогативы шателенов над окрестным земледельческим населением. Так касающаяся, казалось бы, одних сеньоров феодализация в конечном счете принципиально меняет природу сеньориальной власти над крестьянами. Осуществленная в 1239 году Людовиком Святым аннексия графства Моконского — своего рода символический рубеж, за которым условия общественного существования человека диктуются уже не столько его отношением к власти в чистом виде, то есть замку и могущественному шателену, сколько статусом его земли. Социальная структура отныне зиждется на системе поземельных отношений, которая в свою очередь служит основой для новой политической формации.

Конкретные условия и ход политической борьбы, символической и другой, определяют временами противоречивые и переменчивые облики

локальных феодальных режимов. Здесь я сошлюсь на исследования Жерара Джорданенго. Так, графы Прованса долгое время остаются к феодальному праву достаточно равнодушны, ибо видят для своей власти и иной фундамент — в восходящих к каролингской эпохе, увядших, но не исчезнувших публичных институтах либо в реанимируемом римском праве. Рецепция римского права в регионе одно время даже приводит к замещению существующих феодалов иным родом держания, эмпфитевсисом. Другие князья, напротив, привержены осознанной и целенаправленной феодальной политике. В ближайшем соседстве это случается графов Дофины, чье княжество возникает фактически заново, не унаследовав той древней традиции политического лидерства, которая позволяет правителям Прованса претендовать на клятвы и юрисдикции, альберги и кавалькады. Дофины — как называют графов Дофины по прозвищу одного из них — обходятся с баронами едва ли не одними феодальными методами, что оборачивается необременительностью феодального подчинения. XIII век проходит в тщетных попытках дофинов связать феодалы более строгими правилами — в том, что касается порядка конфискации, исключения женщин из наследования и прочего. На рубеже XIV века побеждает обратная тенденция. Бесконечные уступки разнообразных привилегий отдельным группам знати и некоторым крупным баронам говорят о поражении феодальной политики дофинов и освящают независимость знати — расположенной приносить оммаж постольку, поскольку он ни к чему не обязывает, и признающей свои вотчины феодалами, раз само своеобразие феодала как формы землевладения остается в высшей степени туманным. Определения, призванные гарантировать притягательность феодала в глазах баронов, «свободный», «благородный», «древний», в конце концов начинают символизировать его свободу от княжеского контроля и служб. Сохранив былые вольности, знать злоупотребляет фразеологией феодального права ради своего социального самоопределения и беспардонного прессинга в отношении власти дофинов — присваивая себе все выгоды и не принимая никаких обязательств. Идея дофина о введении «чистого феодального права», *meum ius feudorum*, остается в области благих пожеланий. Так феодальная политика дофинов приводит к обратному результату, и лишь после присоединения области к домену французских королей те навводят в Дофине должный феодальный порядок.

В разных обстоятельствах, в зависимости от предмета сделки, статуса контрагентов, их отношения друг к другу, выражение *in feudo* может служить указанием на весьма различные права и обязанности сторон. Говоря о некоем «правильном феодале», февдисты и нотариусы апеллируют к букве феодального права, однако не в силах контролировать употребление и понимание слова другими лицами. С тем же успехом под феодалом может под-

разумеваться отнюдь не недвижимостью, а денежное или натуральное вознаграждение, либо, если речь идет все же о земле, — не благородное, а вполне крестьянское держание. Во Франции такой неблагородный (ротюрный) феодал с XIII века получает беспрецедентное распространение. Способствуя оформлению технических терминов, развивающееся спекулятивное правоведение тем самым провоцирует усугубляющиеся расхождения в их трактовке между разными правовыми системами. В итоге феодал Нижнего Лангедока оказывается во многом сродни, скажем, провансальскому, но никак не феодалу Верхнего Лангедока: по выражению исследователя, ротюрный феодал, так обстоятельно описанный в Тулузской кутюме (1286 год), словно бы происходит с другой правовой планеты.

Есть обстоятельство, заставляющие меня теперь оставить облюбованную мною Южную Францию. Как известно, пример наиболее успешного феодального развития (с реальной военной службой держателей, с правильной иерархией держаний) демонстрирует страна, так и не импортировавшая целостной системы феодального права, Англия. Само слово «феодал», вторично занесенное на остров нормандским завоеванием и первоначально несвязанное от французских коннотаций политического подчинения (в частности, в «Книге Страшного суда»), очень скоро получает значение, весьма отличное от утвердившегося на континенте благодаря торжеству феодального права. Определение *feodum* (английское *fee*) прилагается ко всякой полной, свободной, нормальным порядком наследуемой собственности. Разновидность феодала *sochagia*, землевладение сокменов, называемых в латинских текстах «свободными людьми», в действительности имеет много общего с французским алодом. Напротив, военное держание или держание за ренту требуют дополнительных определений (*feodum militis* или *militarium*, *feodum talliatum*). Путь утверждения идеи иерархии прав собственности в Англии — иной, нежели на континенте. От эпохи нормандского завоевания английские короли унаследовали род правления, при котором уже осуществлялся реальный контроль над собственностью подданных. В опоре на существующие административные и правовые инструменты впоследствии происходит кристаллизация особых правил наследования и отчуждения собственности лиц высокого общественного статуса в силу их особых обязанностей перед короной. Ко времени «Великой хартии» (1215 год) за королевские пожалования английским обществом принимается то землевладение, которое в наибольшей мере затронуто королевской эксплуатацией. Как и в остальной Европе, политический суверенитет трактуется в терминах отношений собственности.

Тот же культурный стереотип, между прочим, засвидетельствован в рассказе ряда скандинавских саг об «отнятии одаля», родовых земель жи-

телей Норвегии, конунгом Харальдом Прекрасноволосым. Подчинив страну своей власти, он якобы тем самым присвоил себе их земли и превратил в своих держателей-лейлендингов. По счастью для нас, скандинавский одал — один из наиболее красноречивых и изученных примеров феномена собственности на средневековом Западе. Воплощая нерасторжимое единство собственности и ее обладателя, одал создает социальное лицо индивида, его высокое достоинство. Мнимое «отнятие одаля» демонстрирует обратное — то, как умаление королевским диктатом личной независимости воспринимается покушением на принципы землевладения.

Я упомянул об этом вот в какой связи. Еще в начале XII века Ирнерий, *lucerna juris*, «светоч права», усматривал в феоде институт публичной службы, что близко семантике, засвидетельствованной около 1000 года, но совершенно расходится с тем пониманием предмета, которое восторжествовало в средневековом феодальном правоведении, которое трактует феодал как связанное особыми правилами землевладение. Генетически административная природа феодализма ощутимо не согласуется с частноправовым способом ее интерпретации. Кажется, юристы идут за народной мыслью — средневековыми представлениями об индивиде, собственности и политическом лидерстве, так живо запечатлевшимися в истории об «отнятии одаля». С упорством выводя этимологию слова «феодал» из латинского *fides* или *fidelitas*, всеми иными доступными способами подчеркивая личный, добровольный, договорный, аффективный характер феодало-вассальных связей (что, надо полагать, весьма далеко стоит от реальной практики административного феодализма), февдисты откликаются на общие места средневековых воззрений на человеческое достоинство и достойное, правильное политическое подчинение. В конечном счете, подчинение знати совершается путем осмысления и рационализации традиционных социальных ценностей и более или менее осознанной и открытой манипуляции ими.

**К ВОПРОСУ
О ФОРМАЦИЯХ**

*Андерсон П.
Переходы от античности к феодализму.
М., 2007.*

Что нового и ценного дает нашему читателю перевод книги Перри Андерсона «Переходы от античности к феодализму»? Я не знаю, что на это ответить.

Любой текст, с которым мы не согласимся по существу, может иметь свои достоинства в виде собранного материала, постановки вопросов, способа их рассмотрения и т.д. О книге Андерсона примерно так и пишут. Ее идей в прямом смысле никто не разделяет и не отстаивает. В глазах западных историков она предстает «непревзойденной по замыслу и охвату», «смелой попыткой создания большого нарратива». Западному человеку может показаться новой и любопытной сама попытка дать связную картину нескольких эпох европейской истории и увидеть общественно-историческое движение как некий объяснимый процесс. «Переходы от античности к феодализму» остаются памятником историографической гигантомании. Для наших западных коллег в этой книге есть нечто волнующее и беспрецедентное. У человека в России другой опыт и, прежде всего, другое историческое образование. В отличие от западных университетов, историческое образование в нашей стране мыслится как сплошное полотно общих курсов по истории древнего мира, средних веков и т.д. и строится на основе учебников. «Большие нарративы», которые хороши только «замыслом и охватом», нам давно и основательно набили оскомину.

Андерсон не работает с историческими источниками. Его рассмотрение основывается на литературе — книгах и статьях других исследователей. Автор претендует на то, что может обобщить большой и разный историографический опыт. Вместо объема мы получаем плоскость, где все встает на свои места и уже не двигается со своих мест. Как это достижимо практически, как сделать обоснованный выбор между разными историческими интерпретациями? Для Андерсона таким оселком служит его историческая концепция. Он называет ее марксистской. Автор имеет в виду представление, согласно которому человечество проходит в своей истории определенные стадии. Разные общества не просто устраивают свою жизнь по-разному, но реализуют в себе некие последовательные возможности общественной и хозяйственной жизни, именуемые общественно-экономическими форма-

циями. В книге Андерсона представлены два больших исторических периода — история древнего мира и средние века. Они трактуются как время господства рабовладельческой и феодальной формаций.

Представление об общественно-экономических формациях как этапах истории человечества, а не просто разных формах жизни, требует вполне определенных доказательств. Таким доказательством должно быть утверждение о пределах развития, данных в одной формации. Формации должны быть охарактеризованы как реализованные и исчерпанные возможности. Без такого отрицательного критерия все разговоры о формациях как этапах исторического пути мало чего стоят.

Андерсон стремится аргументировать утверждение о том, что античные и средневековые общества заметно отличаются по уровню технологического развития. По замечанию Андерсона, античность не знала сложных механизмов, идущих на смену ручному труду и увеличивающих производительность. Из описаний Плиния Старшего мы точно знаем, что сельскохозяйственные машины изобретались. Такова, например, галльская жнейка, что-то вроде примитивного комбайна на конной тяге. Но такие механизмы и хитроумные приспособления не получали широкого распространения. Согласно автору, то же можно сказать по поводу мельниц. Андерсон повторяет мнение, что водяные мельницы, известные в древности, распространились только в средние века. В плане энерговооруженности греко-римская античность, следовательно, почти целиком полагалась на мускульную силу людей и животных. Почему важные изобретения в античности не находили спроса и не внедрялись в широкое производство? Ответом на этот вопрос и служит мысль об общественно-экономических формациях. Препятствием на пути поступательного экономического развития были некие социальные условия. Определяющим социальным фактом марксистская мысль называет господствующее отношение между трудящимися и «эксплуататорами». Характерной фигурой в античности был раб, целиком принадлежащий рабовладельцу. В средние века место раба занял крестьянин, обязанный уплачивать сеньориальную ренту. Средневековые крестьяне и их сеньоры, пишет Андерсон, были или могли себя считать хозяевами процесса производства и быть заинтересованными в новых технологиях и хозяйственном росте. Рабы, в любом случае не выигрывавшие и не проигрывавшие ничего, должны были работать из-под палки. Если античность была временем технологического застоя, то средние века привели к заметным изменениям в древних традициях земледелия. Рост обрабатываемых площадей в Европе около и после 1000 года Андерсон считает иллюстрацией динамизма средневековой экономики, не имеющего аналогов в древности.

Все эти утверждения — выжимка из историографии. Буквально все они могут оспорены. Здесь надо оговориться. Из недавней истории своей страны мы знаем, что общественные условия могут блокировать или серьезно тормозить технический прогресс, быть помехой для динамичного развития. Нет слов, как это интересно и существенно. Решение таких жгучих общественных вопросов скорее всего и есть предназначение историка. Но все вопросы в исторической работе решаются методом наблюдения. Иначе ответы рискуют оказаться выдуманскими из головы.

Перри Андерсон кругом не прав. В первый век существования Римской империи многие римские авторы обрушиваются на латифундии, которые ассоциируются у них с толпами закованных рабов и плохой обработкой земли и ее запустением. Вопреки мнению Андерсона, сегодня мы точно знаем, что такие рабовладельческие латифундии не были распространенной формой организации рабовладельческого хозяйства, да и просуществовали недолго. Инвективы против латифундий — глава из истории политической борьбы в Древнем Риме, а не зарисовки быта. Более типичным исследователи называют поместье среднего размера — рабовладельческую виллу, где труд рабов был организован с умом и построен не на кандалах и палках, а на системе поощрений хорошим работникам. Прямых данных о сравнительной производственной отдаче труда рабов и мелких свободных земледельцев у нас нет. Специалисты по римской экономике считают, что речь идет о сопоставимых величинах⁴. Андерсон стремится представить античных рабов даровой рабочей силой, которую в изобилии давали войны и победы римского оружия. Это якобы влекло рабовладельцев к отказу от хлопотного и затратного пути технического развития производства. Наши историки приходят к другим выводам. Они говорят, что «прирожденный раб был гораздо более типичной фигурой, чем проданный в рабство»⁵. Покупные рабы, тем более квалифицированные работники, как правило, стоили слишком дорого. Не щадить их труд было неразумно. Одна римская эпиграмма прославляла водяные мельницы за то, что они облегчают труд рабынь, которым положено молоть муку. То, что широкое распространение водяных мельниц на Западе относится только ко времени «феодализма», некогда утверждал Марк Блок. Андерсон опирается на его аргументы и делает это зря. Тут снова можно повторить, что теперь мы имеем другие сведения. В наши дни археологи раскопали солидное число римских и раннесредневековых водяных мельниц. Вопрос о распространении водяных мельниц

⁴ Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. Гл. III.

⁵ Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964. С. 55. Утченко С. Л., Штаерман Е. М. О некоторых вопросах истории рабства // Вестник древней истории, 1960, № 4.

в Римской империи можно считать закрытым. Они там были⁶. Та самая галльская жнейка, по поводу которой историки так долго вздыхали, давала выигрыш в производительности, но при этом заметно увеличивала потери зерна. Если лишних земель для обработки нет, то лучше жать вручную. Доказательством технической отсталости римского сельского хозяйства по сравнению со средними веками долгое время считалась история хомута. Андерсон повторяет утверждение, что в древности упряжь тяглых животных сдавливала им горло и не позволяла работать в полную силу. Перри Андерсон объясняет это в том смысле, что роль рабочего скота в античности исполняли рабы. Сегодня доказано, что это мнение основано на ошибочной реконструкции древней упряжи⁷.

Послевоенная историография, за которой идет Андерсон, считала своей важной задачей открытие динамики развития средневековой экономики. Прежде всего это касалось главной производственной сферы средних веков — сельского хозяйства. Такие исследователи, как Дюби, Сликер ван Бат и другие, в 1960-е годы сформулировали концепцию роста сельскохозяйственного производства. Ее приверженцы стремились аргументировать мысль о постепенном росте урожайности на основе усовершенствования земледельческой техники. Одно время эта концепция в нашей стране и за рубежом получила широкое признание, но затем подверглась разрушительной критике⁸. Эта строгая критика справедливо указывала на два момента. Наши данные об урожайности в средние века, во-первых, носят отрывочный и противоречивый характер. Когда в Новое время таких данных по отдельным регионам становится заметно больше, то выясняется, что урожайность отнюдь не имеет тенденции к росту. Напротив, из-за засоления почв во многих местах она систематически падает. Второй, более существенный упрек касается самого понимания традиционного аграрного быта. Идея роста производительности труда на основе технического прогресса применительно к средневековому земледелию является анахронизмом.

Здесь лучше сказать подробнее. Агрικультура — прежде всего наука о том, как сохранить ускользающее плодородие, найти замену тем элементам почвы, которых она лишилась с последним урожаем. Пахота, позво-

⁶ Из последних обзоров сделанного в этой области см.: *Racine P. Le paysage des moulins en Europe Occidentale au moyen âge // Nuova rivista storica. 2006, fasc. II. P. 409–446.* На всякий случай, можно напомнить читателю, что ветряные мельницы получили распространение позднее. Дон Кихот принимал их за чудовища не только по причине расстроенного ума, но и потому, что в Ламанче XVI века они еще были чем-то невиданным.

⁷ *Amouretti M.-C. L'attelage dans l'antiquité: le prestige d'une erreur scientifique // Annales ESC. 1991. № 1. P. 219–232.*

⁸ Подробнее об этом см.: *Бессмертный Ю. Л. Современная западноевропейская историография о развитии производительных сил в средневековом земледелии. М., 1981; Люблинская А. Д. Французские крестьяне в XVI–XVIII веках. Л., 1978.*

лявшая возвращать в почву потерянный азот, являлась первым и главным способом ее рефертилизации. Ту же цель преследовали системы ротации, чередования посевов культурных растений, а также периодический отдых земли — оставление ее под паром. Все эти меры имели смысл и давали отдачу, но не могли изменить химию почв существенно. В ситуации недостатка удобрений плодородие приближалось к естественному.

Приверженцы современных экологических движений полемически противопоставляют потребительское и разрушительное отношение к природе, свойственное современным обществам, неким оптимальным отношениям между человеком и природой, которые, по их мнению, существовали в прошлом, например в средние века. Это по меньшей мере опрометчивое обобщение. Но если мы будем иметь в виду и оценивать конкретные практики, например способы ведения сельского хозяйства в средневековье и наши дни, то, пожалуй, увидим некоторые весьма примечательные отличия. Традиционная агрикультура ориентирована на поддержание естественного плодородия почв. Лучшие или даже все удобрения до конца средневековья направляются на поддержание плодородия заведомо плохих земель. С точки зрения современной агрономии, это нонсенс. Но в средние века поступали именно так. Земледелец учился использовать конкретную природную ситуацию, руководствуясь идеей сохранения того, что есть. Такая хозяйственная философия отражает строй крестьянской экономики, стремящейся к самовоспроизведению на одном уровне, но, кроме того, видимо, отражает характер восприятия природы и своей трудовой деятельности применительно к ней, какое-то осмысление самой возможности получать от ее благ. Средневековые календари, изображающие двенадцать месяцев года в картинах сельского быта, рассказывают о том, каким могло видаться сельское хозяйство. В иконографии календарей мы встречаем в общем ограниченный набор сцен. Это подрезка лозы, сбор, давка винограда, сев, жатва, обмолот хлебов, откорм желудями и забой свиней. Зато почти нет картин тягостных подготовительных операций, как-то пахота, удобрение почв, расчистки нови. Агрικультура изображается как род собирательства, словно бы плоды земли роятся сами собой⁹. Крестьяне просто берут от природы хлеб, сено, виноград, мясо, овечью шерсть. Идея рождающей природы, кажется, заслоняет идею труда и производства как сознательного и целенаправленного преобразования среды.

С древнейших времен орудия труда земледельцев остаются примитивными и неизменными. В средние века не было придумано ни одного нового. Недаром в сочинениях о земледелии они не описываются.

⁹ На это обращает внимание Ж. Коме: *Comet G. Le paysan et son outil, essai d'histoire technique des céréales (France, VIIIe–XVe siècles). Roma, 1992.*

Одно время историки видели прогресс земледелия в переходе от сохи к плугу. Сегодня эта мысль, повторенная Андерсоном, считается спорной. Выбор того или иного инструмента был обусловлен прежде всего естественными условиями. Для обработки легких, сухих, каменистых почв Средиземноморья, которые могут быть легко разрушены глубокой вспашкой, лучше подходит соха, более простое и древнее орудие, корябающее землю и симметрично отбрасывающее ее по обе стороны борозды. Такая пахота лучше предохраняет некоторые виды почв от выветривания. Переворачивающий почвенный слой благодаря специальному приспособлению, отвалу, плуг годился для тяжелых и переувлажненных почв, которые характерны для северной части Европы. В одном хозяйстве подчас имелись разные пахотные орудия для разных почв и разной вспашки. Распространение плуга связано с введением в хозяйственный оборот тех земель, которые сохой было не взять. Соха и плуг не являются двумя последовательными этапами в эволюции одного орудия. Это разные инструменты, используемые для производства разных операций.

Я вспоминаю одну добротную книгу о земледелии средневекового Ирана. Ее автор сначала подробно описывает необыкновенно сложную систему местной ирригации. Иранские водосборные каналы — каризы, или по-арабски канаты — проложены под землей на глубине в десятки метров и идут на десятки километров. О размахе этих древних гидротехнических сооружений говорит тот факт, что уровень ирригации иранского земледелия, существовавший накануне губительного монгольского нашествия в XIII веке, не восстановлен до сих пор. Но, оказывается, еще труднее объяснить другое. Почему при этом не развиваются пахотные орудия? «Контраст между примитивностью и неподвижностью орудий пахоты, с одной стороны, — пишет автор, — и развитыми приемами агротехники иранского земледельца и сравнительно сложными типами ирригационных сооружений, особенно подземных, с другой стороны, кажется поразительным»¹⁰.

Ответ лучше поискать в своих предубеждениях. От экономики древности и средних веков нас отделяет промышленная революция XIX века. Начиная с эпохи промышленной революции развитие техники, влекущее рост производительности труда, становится мотором экономического роста. К истории земледелия доиндустриальной эпохи с такими мерками подходить не стоит.

Главным вопросом развития аграрного производства в средние века было освоение существующих орудий. Обращение с инструментом, тем же плугом, — целая наука, где первостепенное значение имеет угол вспашки,

ее глубина и тому подобные обстоятельства. Прогресс в такой агрикультуре связан с медленным накоплением опыта. Скорее, чем о застою творческой мысли, неизменность сельскохозяйственного инвентаря, очевидно, свидетельствует об особом отношении человека и орудия. Сам по себе рабочий инструмент до эпохи машин является своего рода искусственным продолжением способностей человеческого тела, служит энергии и мастерству земледельца или ремесленника. «На протяжении большей части истории человечества, — замечает американский антрополог Маршалл Салинз, — труд был важнее, чем орудия, и решающее значение имели интеллектуальные усилия производителей, а не их несложное оснащение. Вся история труда вплоть до недавнего времени была историей квалифицированного труда»¹¹. До времени промышленной революции мастерство работника, его квалифицированный труд, а не усовершенствование его орудий было главным источником роста общественного производства. С приходом машин отношение между человеком и орудием претерпело существенное изменение. Действия машины предрешены ее механизмом. Работник обслуживает машину, но само действие производит машина. Лишь тогда развитие техники в виде создания новых машин начинает играть ту самостоятельную и определяющую роль, которую оно играет сегодня. Промышленная революция стала поворотным пунктом в истории труда и наложила отпечаток на представления о человеческой деятельности. Говоря об истории, лучше не попадать в плен своих готовых представлений.

Наконец, Андерсон игнорирует своеобразие экономической жизни в древности и средние века, не желает думать на эту тему. Между тем это давно не terra incognita. Мы знаем, что крестьянское хозяйство отличается от капиталистического. В отличие от капиталистического предприятия, оно не стремится к максимальному использованию своих хозяйственных возможностей и не нацелено на достижение максимальной прибыли, а служит удовлетворению потребностей.

Трогательной иллюстрацией этой хозяйственной особенности является одно агнографическое предание, повествующее о религиозном подвижнике XIII века Франциске Ассизском. Франциск жил отшельником в итальянском местечке Сартеано. Чтобы перебороть в себе искушение вернуться к мирской жизни, он слепил из снега семь снежных баб и сказал себе: «Гляди! Та, что побольше, — твоя жена. Эти четверо — два твоих сына и две дочери. Остальные двое — слуга со служанкой. Видишь, как они умирают от холода. Поскорее дай им всем одежду. Не можешь? Тогда будь доволен тем, что слу-

¹⁰ Петрушевский И. П. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII–XIV веков. М., Л., 1960.

¹¹ Салинз М. Экономика каменного века. М., 1999. С. 87.

жить ты должен одному Господу». После этих слов, поясняет рассказчик, святой подвижник со спокойной душой вернулся в свою келью¹².

Дом складывается из людей разной трудоспособности и предстает как потребительский союз. Потребление в доме выступает главным стимулом производства. Отправным пунктом исследований, ведущих нас к лучшему пониманию собственной логики домашнего хозяйства, в свое время стала книга нашего замечательного экономиста А. В. Чаянова¹³. Он нашел прямую связь между численным соотношением работающих и иждивенцев и интенсивностью хозяйственной деятельности. Интенсивность крестьянского труда падает, когда надо кормить меньше ртов. Вместо того, чтобы богатеть, крестьяне предпочитают меньше работать. Можно добавить, что эта картина, нарисованная усилиями экономистов, сегодня подкреплена большим интересным материалом, собранным этнографами. Мы угадываем в крестьянской экономике огромную способность возрастать при внешнем давлении и немедленно сдуваться, едва это внешнее давление ослабевает.

Исторический промежуток между лучшими временами Римской империи и сеньориальным строем средних веков, который называют ранним средневековьем, отлично это показывает. Можно сказать, что это время кризиса отношений «эксплуатации», возрастания свободы крестьян от власти аристократий. На вопрос о том, что отличает материальную культуру раннего средневековья, историки отвечают: «Бедность!» В материальном смысле это бедное общество. Оно оказалось неспособным оставить после себя память, сравнимую с громадами римских амфитеатров или средневековых готических соборов. Материальный быт власть имущих зависит от налаженных каналов эксплуатации крестьянского труда. За бедностью материальной культуры и свертыванием хозяйственных обменов в раннее средневековье в большой мере встают изменения в экономическом положении социальных элит. Но «бедными» оказываются не они одни. После Карла Маркса меру эксплуатации часто описывали в терминах «необходимого» и «прибавочного» продукта. Имеется в виду, что объем производства якобы всегда есть некая устойчивая и самостоятельная величина, которую определяют технические возможности. Часть его можно изъять, не разрушив основ производства, и это и есть «прибавочный» продукт. К крестьянской экономике сказанное не относится. Если власть имущие получают сравнительно меньшую долю общественного продукта, то это не значит, что больше остается у самих производителей. Это значит, что крестьяне меньше работают. Если мы примем этот взгляд, то сможем объяснить некоторые по-

разительные факты экономической истории раннего средневековья. В частности, есть свидетельства упадка агротехники в это время и даже перехода от пахотного земледелия к мотыжному и от земледелия к охоте и собирательству. Действительно, чем сложнее агротехника, тем больших вложений труда она требует. Если мера эксплуатации падает, крестьянская экономика тоже меняется. Она возвращается к более простым формам хозяйственной деятельности. Из экономической деятельности легче всего сидеть с удочкой и ходить по грибы. Археологи утверждают, что в отдельных местах Италии материальная культура раннего средневековья начинает напоминать культуру эпохи неолита.

После 1000 года установление сеньориального строя приведет к новому подъему европейской экономики. Рост средневековой экономики по-настоящему зависит от институтов. Эти важные наблюдения помогают уловить экономическую реальность сеньориального строя средних веков. Но мнения Андерсона об общественно-экономических формациях как этапах технологического роста они не подтверждают. Это мнение должно быть признано ошибочным.

¹² Vita Secunda S. Francisci Assisiensis, 117.

¹³ Чаянов А. В. Организация крестьянского хозяйства // Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М., 1989. С. 194–442.

**ДВА ОТКРЫТИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ
АРХЕОЛОГОВ**

Археология раннего средневековья в наши дни развивается стремительно. Число исследований и публикаций возросло в такой мере, что уследить за всем трудно даже археологам. Не менее впечатляет качественный рост археологической работы. Она соединилась с достижениями естественных наук и научилась приносить такие сведения о прошлом, о которых прежде нельзя было и мечтать.

Это касается, в частности, истории экономики в раннее средневековье, которая остается в исторических исследованиях одной из самых темных и запутанных тем. Мой исследовательский опыт подсказывает, что трудность здесь коренится в наших интерпретативных схемах. Требуется работа над ними. Неясность вопросов экономической истории мне видится следствием концептуальных провалов.¹⁴ Но общее мнение состоит в том, что историкам данного периода просто не хватает исторических источников. Отсюда энтузиазм некоторых ученых, возлагающих на новые методы археологии огромные надежды.

Примером надежд такого рода может служить очерк Майкла МакКормика с характерным названием «Молекулярные средние века: Экономическая история раннего средневековья в XXI веке».¹⁵ Автор задается целью обобщить новые исследовательские методики в археологии, возникшие в симбиозе с естественными науками. Набросанная им картина, действительно, удивляет и радует. Так, анализ биологических остатков методами химии, микробиологии, палеоботаники дает драгоценную информацию по истории питания. По костям умерших мы узнаем о преобладании в рационе растительной или животной пищи либо морепродуктов. Согласно одному недавнему исследованию, дети и молодые женщины на *Isola Sacra* под Римом меньше ели мяса и рыбы. Старшее поколение больше других употребляло оливкового масла и вина. Более полные сведения о системе питания исследователи древних погребений получают путем анализа фи-

¹⁴ Дубровский И. В. Институт и высказывание в конце Римской империи. М., 2009.

¹⁵ McCormick M. Molecular Middle Ages: Early Medieval Economic History in the Twenty-First Century // McCormick M., Davis J. R. (eds.) *The Long Morning of Medieval Europe: New Directions in Early Medieval Studies*. Aldershot, 2008. P. 83–97.

толитов, окаменелостей, которые находят на зубах и там, где должен был помещаться желудок умершего. Благодаря им, в частности, стало известно, что жители Таррагоны ели бобовые, растения семейства маревых (сюда относятся шпинат и сахарная свекла) и, кажется, ... осоку. Потенциальный кладезь сведений по животноводству — средневековые манускрипты, наполняющие наши библиотеки. Они написаны на пергаменте, выделанной коже десятков тысяч животных, то есть содержат массовый генетический материал. Можно назвать еще целый ряд интересных методик, способных внушить историку раннесредневековой экономики самые радужные надежды: «Экономическая история раннего средневековья, — пишет М. МакКормик, — похоже, вот-вот войдет в новую эру революционных открытий». Хочется в это верить. Однако в любом случае это только будущее нашей науки.

По крупицам археологических сведений важные исторические факты, способные повлиять на наше представление о прошлом, восстанавливаются с большим трудом. На проверку археология дает истории не так много. Открытия приносят скорее традиционные сферы археологии, где наработан значительный опыт, как-то: типология керамики или история поселений. Если говорить об экономической истории раннего средневековья, то в археологии последних лет я знаю вообще только два таких значительных открытия. Я с удовольствием о них расскажу. Не будучи археологом, естественно, я не могу ничего добавить к анализу археологического материала, однако хотел бы остановиться на его интерпретациях в среде историков.

Первое открытие касается давно волнующего исследователей вопроса о прекращении дальней морской торговли в Средиземноморье раннего средневековья. Для бельгийского историка начала прошлого века Анри Пиренна, построившего свою историческую картину на основе истории торговли, это был принципиальный момент в вопросе об историческом «переходе» от древности к средним векам. Пиренн утверждал факт преемственности торгового обращения в Средиземноморье в эпоху Франкского государства Меровингов и связывал последующий разрыв торговых связей с экспансией арабов, в VII и начале VIII веков подчинивших себе огромные территории региона.¹⁶ Его интерпретация роли арабов сегодня признана ошибочной. Свертывание торговых обменов вовсе не было целью, которую ставили перед собой их правители. Самое большее, что можно сказать, это то, что в какой-то момент произошла переориентация торговых связей арабского мира в направлении Месопотамии и Индийского океана. «Тезис Пиренна» изначально был лишь догадкой, не подкрепленной всеобъемлющим рассмотрением показаний исторических источников. Такой материал сегодня собран и проанализирован

¹⁶ *Pirenne H. Mahomet et Charlemagne. Paris, 1937.*

в обстоятельной работе Дитриха Клауде¹⁷. Впрочем, хронология угасания торговли между Восточным и Западным Средиземноморьем, предложенная немецким автором, совпадает с датами, названными Пиренном.

Как бы то ни было, данные письменных источников содержат минимум интересующих нас сведений, и их потенциал в основном исчерпан. Тексты перечитаны вдоль и поперек. Только археология в силах помочь лучше узнать предмет. Об экспортных потоках удобнее всего судить по данным керамики — разбитым амфорам, в которых в древности перевозили не только вино и оливковое масло, но и фрукты, рыбный соус и другие товары. Такая картина торговли, конечно, не будет полной. Тем не менее из анализа керамики мы получаем сведения, ценность которых трудно переоценить и которыми можно оперировать с большей уверенностью, чем любыми сообщениями наших письменных материалов. Для этого надо научиться распознавать амфоры по месту происхождения. Это бесконечно трудная задача, но в последние годы археологи в этом отношении сумели серьезно продвинуться вперед. Большинство типов амфор и другой керамики получило убедительную локализацию. Дело за интересными находками.

Такую счастливую возможность проникнуть в историю торгового обращения раннего средневековья открывают находки в римском памятнике, известном под именем *Crypta Balbi*.¹⁸ Раскопки велись совместными усилиями археологов Рима и Сиены под руководством Л. Сагуи и Д. Манакорда. В сезон 1993 года в *Crypta Balbi* были раскопаны две мусорные ямы, вероятно, относящиеся к одному из римских монастырей, бывшему по соседству. Среди находок, сделанных в *Crypta Balbi*, — огромное количество фрагментов керамики, причем в такой хорошей сохранности, которая делает многие изделия узнаваемыми. Всего специалисты по керамике во главе с Лучией Сагуи отождествляют в *Crypta Balbi* порядка 500 амфор, использовавшихся для транспортировки грузов. Происхождение большинства из них установлено. Самым интересным является сравнение содержимого двух мусорных ям. В первой яме, которая по нумизматике датируется концом VII века, мы встречаем большое количество привозных контейнеров: чуть больше 60% идентифицированных амфор изготовлено на территории современного Туниса; около 25% привезено из Восточного Средиземноморья, главным образом с Ближнего Востока; 12% экспорта — итальянского происхождения, это

¹⁷ *Claude D. Der Handel im westlichen Mittelmeer während des Frühmittelalters. Göttingen, 1985.*

¹⁸ *Sagui L., Ricci M., Romei D. Nuovi dati ceramologici per la storia economica di Roma tra VII e VIII secolo // La ceramica medievale en Méditerranée. Actes du VIe Congrès de l'AIIECM (Aix en Provence, novembre 1995). Aix en Provence, 1997. P. 35–48; Sagui L. Roma, i centri privilegiati e la lunga durata della tarda antichità. Dati archeologici dal deposito di VII secolo nell'esedra della Crypta Balbi // Archeologia Medievale, XXIX, 2002. P. 7–42.*

амфоры юга Италии и Сицилии. (Роль италийской торговли в процентном выражении, наверное, выше, так как археологи относят к югу Италии значительную часть другой найденной керамики — посуды и светильников.) Вторая яма, датированная началом VIII века, демонстрирует разительные отличия. Экспорт из Африки и Восточного Средиземноморья решительно пресекается и остается чисто италийским. Доля амфор среди керамики падает с почти половины до четверти.

Очевидно, можно согласиться с мнением Лучии Сагуи, которая полагает, что находки, сделанные в *Crypta Balbi*, иллюстрируют переломный момент в истории средиземноморской торговли, важную историческую тенденцию. Эта мысль подкрепляется не только картиной, составленной историками по письменным источникам, но и некоторой другой археологией. В особенности, существенны раскопки Марселя, главного средиземноморского порта Франкского государства в правление Меровингов. Они свидетельствуют, что продовольственный экспорт из Северной Африки продолжается еще во второй половине VII века. При этом ввоз из Восточного Средиземноморья, довольно активный в конце VI и начале VII веков, сходит на нет в следующие десятилетия.¹⁹ Интерпретация данных в любом случае требует максимальной осторожности.

Итальянский археолог справедливо подчеркивает, что в историю торгового обращения вмешиваются властные отношения и военно-политические контексты. Логика «спроса и предложения» наверняка не объясняет развитие ситуации в полной мере. Так, продолжение ввоза продовольствия из Африки и с Востока в некоторые прибрежные районы Италии, оставшиеся под контролем Византии, можно понять как вынужденную меру снабжения военных гарнизонов, отрезанных от внутренних районов страны, где властвовали лангобарды. В случае с *Crypta Balbi*, очевидно, надо принять во внимание то, что мы имеем дело с крупным церковным учреждением. Действительно, по некоторым данным, в том числе археологическим, мы знаем, что церкви удавалось организовывать централизованные поставки, когда другие формы обмена пропадали. По справедливому наблюдению Лучии Сагуи, свертывание торговых обменов в Западном Средиземноморье совершается неравномерно, на разных направлениях и для разных потребителей по-разному и на заключительном этапе особенно тесно увязано с историей политической власти и политических возможностей. Конец средиземноморской тор-

¹⁹ Обзор этих археологических материалов в контексте показаний письменных источников можно найти в статьях: *Loseby S. T. Marseille and the Pirenne Thesis*, I: *Gregory of Tours, the Merovingian Kings, and «un grand port»* // *Hodges R., Bowden W.* (eds.) *The Sixth Century: Production, Distribution and Demand*. Leiden, 1998. P. 203–229; Он же, *Marseille and the Pirenne thesis*, II: «ville morte»? // *Wickham C., Hansen I.* (eds.) *The Long Eighth Century*. Leiden, 2000. P. 167–193.

говли в том и заключается, что каждый случай сохранения торговых связей перестает быть обычным и становится особенным. Все примеры такого рода мало-помалу перестают представлять что-либо, кроме самих себя. Потому все датировки лучше принимать как условные ориентиры.

Свое объяснение свертыванию хозяйственных обменов в раннее средневековье недавно попытался дать английский историк Крис Уикхем²⁰. Главным потребителем товаров в аграрном обществе он считает правящие элиты. Автор отмечает, что власть — это потребление и траты. Дело не только в том, что власть обозначена для окружающих высоким потреблением, богатством, выраженным в вещах. Политические лидеры общества, кроме того, обязаны кормить и одевать свое окружение, помогающее их власти осуществляться, составляющее, так сказать, ее инфраструктуру. Так, английское слово *lord*, «господин», пишет Э. Бенвенист, происходит от древнеанглийского *hlāford*. *Half* значит «хлеб» (ср. англ. *loaf*, «буханка», «каравай»; русское слово «хлеб» того же корня и считается заимствованием из германских языков), и все слово восстанавливается как *hlāf-weard*, «страж хлебоб». Слово *lady*, «дама, хозяйка», по-древнеанглийски *hlæf-dīge*, значит «месящая хлеб». Таким образом, власть имущие в мире англосаксов определяются как «кормильцы», хозяева хлебного каравая, дающие есть другим.²¹

Периоды подъема и упадка торговли Уикхем увязывает с историей социальных институтов, отдававших в руки знати достаточные материальные ресурсы. Применительно к обществам раннего средневековья можно говорить об относительной бедности правящих элит. По мнению автора, это обусловлено тем, что в этот период одни формы власти и эксплуатации пали (римская система налогообложения), а другие еще не сложились («сеньориальный строй», известный нам по материалам средних веков). Власть имущие хотя не бедствуют в прямом смысле слова, но все же явно не располагают значительными материальными ресурсами. Судьба торговых обменов в Европе и Средиземноморье, пресекавшихся или серьезно затормозившихся в какой-то исторический момент, таким образом, представлена прямым следствием судьбы аристократии, оставшейся без средств и просто переставшей покупать привозные товары. Такая связь платежеспособного спроса, редуцированного до спроса со стороны аристократии, и социальной эксплуатации видится автору настолько ясной и однозначной, что само состояние торговли ему кажется надежным свидетельством по истории социальных институтов. Крис Уикхем, смело набрасывая главные линии

²⁰ *Wickham C.* *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400–800* Oxford, 2005; Он же, *Rethinking the structure of the early medieval economy* // *McCormick M., Davis J. R.* (eds.) *The Long Morning of Medieval Europe*. P. 19–31.

²¹ *Бенвенист Э.* *Словарь индоевропейских социальных терминов*. М., 1995. С. 261.

социально-экономической истории на рубеже древности и средних веков, делает отсюда далеко идущие выводы о конце римских налогов и становлении власти и эксплуатации в лице средневековых сеньоров. Доказательство, таким образом, идет по кругу, где одно гипотетическое суждение воздвигается над другим, находя оправдание не столько в показаниях исторических источников, сколько в связности картины целого.²²

Идея зависимости экономического роста от платежеспособного спроса социальной элиты высказывалась в историографии и прежде. Жорж Дюби в своей книге «Воины и крестьяне» объясняет таким образом экономический рывок Запада в начале высокого средневековья.²³ До него Анри Пиренн выводит возрождение торговли и возникновение средневековых городов из торговых поселений у подножья сеньориальных замков, находя для симбиоза купцов и сеньоров наглядную топографическую иллюстрацию.²⁴ Этот аргумент, наверное, не лишен правдоподобия, однако мы знаем факты, которые просто не укладываются в эту элементарную схему. Я сошлюсь на хрестоматийный текст Дэвида Николаса по истории города Гента²⁵, представлявшего Пиренну наиболее убедительным подтверждением его концепции.

Гент как торговый центр возникает на границе двух хозяйственных зон. Можно уверенно утверждать: город первоначально играет связующую роль между территориями внутренней Фландрии, пригодными для зернового земледелия, и скудными песками к северу от него, где могло развиваться только пастбищное скотоводство. Обмен совершается между этими территориями. Сеньоры здесь ни при чем. При этом сам город, жители которого отказались от крестьянского труда, выступает чуть ли не главным потребителем привозных продуктов питания. Город как центр торговли в первую очередь обслуживает не сеньориальные замки, как полагал Пиренн, а кормит сам себя. По словам Николаса, главной сферой торговли в Генте веками была деятельность части горожан по обеспечению продовольствием другой их части. Эта хозяйственная ситуация в конце концов заставила гентцев выйти за рамки локального обмена. Настало время, когда окрестные деревни уже не могли обеспечить потребность города в продуктах питания, и начался их ввоз из других регионов. Привозное зерно оказалось дешевле, что при-

²² Еще раз хочу сослаться на свою работу, указанную в прим. 14. В ней я обращаю внимание на трудности описания социальных институтов. Наши данные об истории институтов во многих случаях могут быть и, по-видимому, являются просто недостаточными.

²³ *Duby G. Guerriers et paysans, VIIIe-XIIIe siècles. Premier essor de l'économie européenne. P., 1973.*

²⁴ *Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли. Горький, 1941. Его интерпретация ранней городской топографии сегодня признана ошибочной: Verbulst A. The Rise of Cities in North-West Europe. Cambridge, 1999.*

²⁵ *Nicholas D. Structures du peuplement, fonctions urbaines et formation du capital dans la Flandre médiévale // Annales ESC, 33 (1978). P. 501–527.*

вело к упадку агрикультуры в окрестностях Гента. Крестьянам оставалось искать себе новые занятия, чем стала для них текстильная промышленность. Мы знаем, что в конце средних веков город превратился в крупнейший центр текстильного производства Фландрии и Европы. Можно взглянуть на этот факт с точки зрения истории «спроса» на ткани, то есть потребления знати. Но для Д. Николаса очевидно, что ткачество в городе и окрестностях также развивается в силу внутренних причин как ответ на коллапс локальной экономики и поиск средств к существованию. До того считалось, что города развиваются в связи с подъемом деревенской экономики. Американский историк показывает, что дело может обстоять наоборот.

Одного этого примера, я думаю, достаточно, чтобы уяснить себе сложность экономической жизни и истории экономических институтов. Они возникают и действуют во многом как самодовлеющие факты. Данные о хозяйственном облике средневекового Гента также наводят на мысль, как недостаточна может быть информированность исследователей начала средних веков. По-видимому, нельзя сводить экономическую историю к проблеме спроса и потребления, понятым как коренная причина экономической жизни и экономического развития. Еще я бы назвал надуманным и лишним сам способ рассмотрения предмета путем его искусственного разделения на причину и следствие.

Одновременно с книгой Уикхема вышел первый том «Новой Кембриджской средневековой истории», где тем же археологическим материалам дается другая интерпретация.²⁶ Для Саймона Лосби средиземноморская торговля — не просто набор потребительских функций. Она складывается из институтов, устойчивых форм деятельности. Когда мы говорим о прекращении торговых обменов между Восточным и Западным Средиземноморьем в конце эпохи Мервингов, не надо думать, что это разрывы экономических связей, существовавших в греко-римской античности. Речь идет об экспортных потоках, приобретших масштаб только в V веке. Лосби предлагает взглянуть на историю торговли с точки зрения производства и экспортных возможностей отдельных областей Средиземноморья, меняющихся от века к веку. Экономическая ситуация в конце античности на Ближнем Востоке делала экспорт возможным. Мы знаем об этом благодаря новым исследованиям. Прекращение торговли интерпретируется Лосби в свете исчерпания таких возможностей. Действительно, почему мы рассматриваем эту ситуацию только как факт истории Запада?

Сам спрос на привозные товары, по верному замечанию С. Лосби, необходимо увидеть через призму культурных стереотипов. Человеческие по-

²⁶ *Loseby S. The Mediterranean economy // Fouracre P. (ed.) The New Cambridge Medieval History. Vol. 1. 500–700. Cambridge, 2005. P. 605–638.*

требности не являются простой реализацией имеющихся возможностей, от ветом на них, а уносят в свой мир фантазии и идеалов. Средневековый аскет, казалось бы, олицетворяет отказ от потребностей, их сведение к строгому физиологическому минимуму. Но, даже опустившись на это потребительское дно, мы неизменно встретим свою потребительскую культуру. Таков, к примеру, затворник Госпиций, живший в районе Ниццы в VI веке и известным нам со слов Григория Турского. Подобно монахам египетских пустынь, показавшим образец монашеской жизни, он питался в пост только корешками трав, которые ему специально привозили купцы из самого Египта. Освещать церкви масляными лампами, а не восковыми свечами, пить привозное вино, писать на папирусе, а не на пергаменте — все это культурные традиции, которые тоже имеют свою историю, начало и конец.

* * *

Другое замечательное открытие итальянских археологов, которое вносит вклад в экономическую историю, связано с проблемой *incastellamento*. Речь идет о нашем понимании происхождения сеньориальной власти в средние века.

Предметом интерпретации выступают деревенские поселения Средиземноморья, часто обозначенные в средневековых письменных источниках словами *castra* и *castelli*. Стереотип «феодализма» издавна имел над историками такую власть, что довольно долго они понимали эти обозначения буквально, считая, что речь идет о сеньориальных «замках». Датский ученый Йохан Плеснер сумел показать, что *castelli* Тосканы представляют собой не жилища сеньоров, а главным образом укрепленные деревни.²⁷ Замок мог располагаться внутри такого деревенского поселения, однако он назывался другим словом — *госса*. В отношении к сеньору сельское население в документах временами выглядит однородной массой «зависимых держателей». Эта картина на самом деле крайне неточно отражает подлинный социальный облик деревенских жителей. Увидеть это Плеснеру помогает просопографический метод, подробная история семей деревни Пасиньяно в Кьянти.

Известная книга Тубера стала попыткой вдохнуть жизнь в простую и привычную схему социальной истории средних веков.²⁸ Работа написана на материале грамот из монастырей Фарфа и Субьяко в Лацио. *Castra* Центральной Италии Пьер Тубер также считает не сеньориальными замками,

²⁷ Plesner J. L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIIIe siècle. København, 1934.

²⁸ Toubert P. Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine, du IXe au XIIe siècle. T. 1–2. Rome, 1973.

а деревнями, но приписывает их происхождение «сеньориальному строю», видя в них своеобразный инструмент эксплуатации крестьян в руках сеньоров. Документальные материалы региона, а также утверждения местных хронистов XII века приводят Тубера к мысли, что в раннее средневековье деревень в Лацио еще не существовало. По словам монастырских хронистов, господствующими формами расселения были хутора и обособленные усадьбы, где каждый крестьянин, предоставленный сам себе («*quasi sub ficu et vite vel in propriis praediis erat hominum illius temporis incolatus*»), жил в библейском мире («*alta pace omnes gaudebant*»). Но наступила великая смута X века, превратившая крестьян в деревенских жителей. Полагая спастись от сарацин, те оказались заперты в новых укрепленных деревнях, где роковым образом потеряли былую независимость и попали под гнет сеньоров. Средневековые хронисты явно оперируют идеальными образами, однако Пьер Тубер относится к их словам с доверием. Согласно Туберу, на протяжении X века сельские жители Лацио стоняются сеньорами в компактные деревни *castra* или *castelli*, обеспечившие установление эффективного сеньориального строя. Основание деревни, согласно грамотам, включает две совмещенные во времени операции собирания людей (*congregatio populi, amasamentum hominum*) и земель (*consolidatio fundorum, coherentia pertinentiarum, constitutum in unum*). Образование деревень, таким образом, идет рука об руку с оформлением новой организации пространства. На место беспорядочной мозаики сельского пейзажа приходят правильные системы полей и дорог когерентных деревенских территорий. Сельские жители (*populus castris*) отныне зажаты четкими рамками ясно обозначенной, гомогенной, унифицированной, нивелирующей статусные различия сеньориальной зависимости, которая определяется деревенским (сеньориальным) обычаем (*consuetudo castris*). Это явление получило в историографии название *incastellamento*.

Простота и отчетливость этого образа произвела огромное впечатление на историков. Он оказался желанным, так как просто и убедительно решал коренной вопрос социальной истории средних веков. Многие поспешили признать правоту французского историка и репрезентативность примера. «Важная черта сеньориального времени, — обобщает один из них, — это собирание людей их светскими и церковными властителями».²⁹ Дело в том, что для большинства регионов Европы X, XI и даже XII веков мы просто не имеем соответствующих источников либо они так скудны, что едва ли дают возможность для убедительных выводов. Взгляд историка сеньориального строя поневоле привязан к нескольким территориям, документирован-

²⁹ Barthélemy D. L'ordre seigneurial, XIe — XIIe siècle. Paris, 1990. P. 100 sq.

ным церковными собраниями грамот. Доказать или опровергнуть репрезентативность материалов Тубера с документами в руках не так просто.

На территории Франции близкой аналогией *incastellamento* выступает история деревень Нижнего Лангедока, исследованная Моник Бурен.³⁰ Но автор также отмечает различия. Первое (и главное) заключается в отсутствии видимого давления со стороны собственно сеньюров. Процесс складывания деревень предстает спонтанным, несколько менее систематическим и радикальным, наконец, существенно растянут во времени. Более явственна и десятилетиями сохраняется социальная разнородность населения, с трудом преодолеваемая унифицирующим сеньориальным обычаем. Есть регионы, показывающие такие же отчетливые и хрестоматийные примеры становления власти сеньюров, как Лацио Тубера, где никакой реорганизации структуры расселения не происходит. Так, в Каталонии сеньориальная власть строится на замках и кастильях, однако при этом почти на всей территории края население не сосредотачивается в крупных деревнях, а остается рассеянным.³¹

Крис Уикхем на материале Тосканы формулирует свое понимание *incastellamento*. Для него это, во-первых, длительный процесс; во-вторых, разворачивающийся в два этапа. Сначала в XI веке Тоскана покрывается сетью замков на холмах, вокруг которых в следующий век или два медленно скапливается сельское население.³² Деревни появляются едва ли не к XIII веку. Одновременно автор охотно подчеркивает большие локальные различия, делающие любые обобщения весьма условными и требующими оговорок. Большие территории так и остались зонами рассеянного заселения. В своем рассмотрении Уикхем стремится использовать не только письменные источники, но и данные археологии. Впрочем, археологи сегодня оказались его самыми горячими оппонентами.

Я имею в виду труды Риккардо Франковича, Марко Валенти и их коллег по университету Сиены.³³ В том, что касается археологии, сведения

³⁰ Bourin-Derruau M. Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d'une sociabilité, Xe–XIVe siècle. T. 1–2. Paris, 1987.

³¹ Freedman P. The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia. Cambridge, 1991.

³² Wickham C. Documenti scritti e archeologia per una storia dell'incastellamento: l'esempio della Toscana // *Archeologia Medievale*, XVI, 1989. P. 79–102; Он же, *The Mountains and the City. The Tuscan Apennines in the Early Middle Ages*. Oxford, 1988; Он же, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo*. Roma, 1995.

³³ Francovich R. The Beginnings of Hilltop Villages in Early Medieval Tuscany // McCormick M., Davis J. R. (eds.) *The Long Morning of Medieval Europe*. P. 55–82; Valenti M. L'insediamento altomedievale nelle campagne toscane. Paesaggi, popolamento e villaggi tra VI e X secolo. Firenze, 2004; Francovich R. Villaggi dell'altomedioevo: Invisibilità sociale e labilità archeologica // Там же. P. IX–XXII; Он же, *L'incastellamento e prima dell'incastellamento // Barceló M., Toubert P. (éd.) L'incastellamento. Actes des rencontres de Gerone (26–27 novembre 1992) et de Rome (5–7 mai 1994)*. Rome, 1998. P. 13–21.

Уикхема, по их словам, сильно устарели. Эта группа археологов считает, что деревенские поселения в Тоскане — и, возможно, других регионах Италии — возникают не в X, XI или XII веках, а значительно раньше, в раннее средневековье.

Какими данными они располагают? Во-первых, это сплошное археологическое обследование территории. Надо представить себе масштаб этой задачи. Если говорить о Тоскане, то до сих пор таким образом изучено меньше 9% ее территории (порядка 2000 км²). Но эта цифра значительно выше по отдельным регионам. Так, области Сиены и Гроссето охвачены исследованием почти на четверть, а это данные, которым уже можно доверять. Открытие состоит в том, что в ходе такой доскональной археологической разведки, нацеленной не на объекты, а на площади, археологи практически не встречают следов поселений раннего средневековья, их просто нет. Остается предположить, что сельское население было изначально сосредоточено в тех местах, где располагались потом. Очевидно, оно проживало в населенных пунктах, известных нам как поселения высокого средневековья. Долгое время исследователи придерживались мнения, что население ранне-средневековой Тосканы не было сконцентрировано в деревнях, а являлось рассеянным. Трудно сказать, как и почему утвердилась такая мысль. Видимо, здесь дело в общем переживании эпохи, которая подспудно воспринимается временем разрушения и дезинтеграции общества. Так или иначе, весомых доказательств этот традиционный взгляд никогда не имел. Сегодня есть доказательства обратного. Сплошное обследование огромных территорий Тосканы не выявило следов рассеянного заселения.

Во-вторых, археологи действительно стали находить следы ранне-средневековых поселений при раскопках тосканских *castelli*. По подсчетам Марко Валенти, за последние два десятилетия в Тоскане археологами было исследовано 37 *castelli*, и 24 из них, то есть 62%, имеют следы раннесредневекового заселения. Впрочем, и эта цифра явно занижена, так как большинство раскопок было очень скромным по масштабам и не позволяет сделать надежных выводов о времени возникновения поселения. Надо учесть еще то, что, в отличие от каменного строительства высокого и позднего средневековья, раннесредневековые постройки возводились из дерева, земли, соломы, тростника и почти не оставили следов. Раннесредневековые слои к тому же бывают сильно повреждены или почти уничтожены последующим строительством. Наконец, самое главное препятствие на пути открытия этих древнейших слоев состоит в готовности исследователей к таким открытиям. Надо знать, что ты ищешь и что можешь найти, иначе важная информация может остаться незамеченной или получить неверную интерпретацию. До сих пор многие археологи к таким находкам были просто не готовы. Со-

гласно Валенти, всего в Италии раскопки велись в полутора сотнях castelli и раннесредневековые слои были обнаружены в половине случаев.

Какую историческую картину эти новые археологические данные позволяют нарисовать? По этим данным сеть деревенских поселений на холмах складывается в регионе в VI–VIII веках. Инициатива сеньюров в этом деле — вряд ли что-то правдоподобное, так как среди построек нет таких, которые выделялись бы на общем фоне. Поселения сначала лишены различимой внутренней иерархии. Такие различия появляются в IX веке, видимо, означая установление более эффективной сеньориальной власти. По мнению Уикхема, я напомним, история castelli начинается с укрепленных жилищ знати, которые впоследствии притягивают сельское население. Согласно новым сведениям, добытым археологами из Сиенского университета, все обстоит с точностью до наоборот. «Элита» приходит в деревню последней. Также можно отметить как любопытный факт то, что археологи не встречают больших локальных отличий в истории поселений. Все развивается примерно одинаково и в одном темпе. Для Криса Уикхема глубокие местные отличия очевидны, для археологов — нет.

Р. Франкович и М. Валенти выступают с критикой работы историков, систематически недооценивающих реальность существования деревенских поселений в раннее средневековье. Речь идет не только о недостатке внимания к работам и открытиям археологов. Главные вопросы вызывает привычка историков принимать фразеологию грамот за достоверное и полное описание социальной реальности, стремление не замечать или игнорировать неясности.

Действительно, надо дать себе труд заметить, как часто в сообщениях письменных источников деревни и деревенская жизнь, так сказать, остаются за кадром. Нас, очевидно, путает некий образ общественной жизни, где все правила и институты складываются в некую гармоническую целостность и могут быть описаны при помощи метафоры «общественного механизма». Если это верно, если разные формы общественной жизни соединены как шестеренки работающего «общественного механизма», любое высказывание будет достаточно точно представлять общество в целом. Но, может быть и скорее всего, это мнение далеко от истины. Жизнь полна противоречий. Многие социальные институты диктуют свои законы, пребывая в имплицитном конфликте. Я напомним только один пример самой известной деревни средних веков. Автор исследования о деревне Монтаю, в графстве Фуа, знает о существовании в ней зрелых институтов деревенского самоуправления (не говоря уже о таких экзотических фактах, как «язык Монтаю», или своя технологическая культура, характеризующаяся отсутствием колес), но вынужден сознаться, что во всех описаниях деревня как таковая

отсутствует и предстает «архипелагом домов».³⁴ Описания, содержащиеся в раннесредневековых грамотах, наверное, по-своему точны, но они имеют в виду домовладения, отношения между которыми во многих случаях остаются непроясненными. Не встречая упоминаний деревень, я бы не строил на этом далеко идущих выводов.

Взгляд и суждения археологов из Сиенского университета привязаны к нескольким castelli, раскопанным своими руками и лучше всего. Таковы по праву известные раскопки в Монтарренти, Поджибонси, Мирандуоло и ряде других мест. Даже если исследователи могут так или иначе опереться на материалы еще двух или трех десятков изученных поселений, это составляет малую толику из полутора тысяч castelli Тосканы, известных на сегодняшний день. Крис Уикхем отнесся к новым идеям критически, высказав сомнения в представительности материалов, на которых они выстроены.³⁵ Он развивает свою мысль о множественных региональных и локальных отличий в истории расселения.

При такой постановке вопроса с ним трудно спорить. Древнейший актовый материал, начинающийся с VIII века, сохранился в Тоскане для области Лукки. Исследования Уикхема закономерно тяготеют к области Лукки. Риккардо Франкович, Марко Валенти и их коллеги сосредоточили свои исследовательские усилия главным образом на сельской округе городов Сиена и Гроссето. Работы Уикхема и его оппонентов тем не менее однажды пересекаются. Речь идет о Монте Амиата. Для этой территории в нашем распоряжении есть два десятка раннесредневековых грамот. Они кажутся Крису Уикхему достаточным материалом, чтобы сделать вывод о рассеянном характере заселения Монте Амиата в раннее средневековье и появлении здесь укрепленных деревень в более поздний период. Риккардо Франкович и Марко Валенти справедливо указывают на данные сплошной археологической разведки. Археологам не удалось найти следов рассеянного заселения Монте Амиата в раннее средневековье. Но решить вопрос окончательно могут только раскопки средневековых деревень этого прелестного уголка Тосканы.

³⁴ Le Roy Ladurie E. Montailiou, village occitan de 1294 à 1324. Paris, 1975.

³⁵ Wickham C. Framing the Early Middle Ages. P. 484–486. Так же судит о них автор недавнего археологического исследования об incastellamento в Лацио: Hubert É. L'incastellamento en Italie centrale: pouvoirs, territoire et peuplement dans la vallées du Turano au Moyen Age. Roma, 2002.

**ДАРЫ
И ОТНОШЕНИЯ**

Дарственные грамоты короля Беренгария I давно привлекают внимание исследователей. Беренгарий унаследовал от отца маркграфство Фриули, от матери — родство с Каролингами. После свержения последнего каролингского императора Карла Толстого Беренгарий был избран королем Италии. Это случилось в 888 году, а уже через год он потерпел поражение в борьбе с другим претендентом на корону Гвидо Сполетским. До смерти Гвидо и его сына Ламберта, погибшего в 898 году, власть короля Беренгария ограничивалась Фриульской маркой. С 898 по 924 годы с небольшими перерывами он оставался единоличным правителем королевства и в 915 году был провозглашен императором. Правление Беренгария I, по мнению большинства историков, стало кульминацией разрушения государственных институтов, оставшихся от каролингского времени. Постоянно опасаясь, что число его противников может увеличиться, он покупал расположение влиятельных лиц щедрыми дарами. В этой безудержной растрате в ход шли не просто материальные ресурсы королевской власти. Магнаты королевства в качестве подарков получали в свое ведение то, что до тех пор считалось и было исключительной прерогативой государства, включая городские стены и право возведения новых крепостей, налоги, пошлины, монетную чеканку и судебные права. Исследователи отмечают, что короли Гвидо и Ламберт в конце IX века, король Гуго Вьеннский, правивший Италией после Беренгария I, напротив, стремились по мере сил воздерживаться от чересчур щедрых даров своим подданным и дорожили государственными институтами или тем, что от них оставалось³⁶.

Вспомнить этот сюжет заставляют важные наблюдения, сделанные недавно французским историком Лораном Феллером³⁷. Он сопоставил преамбулы дарственных грамот правителей IX–X веков и нашел интересные различия. Так, пожалования, сделанные в середине IX века Карлом Лысым, не содержат указаний на некие ответные действия их получателей. Дар пред-

³⁶ *Фазоли Дж.* Короли Италии (888–962 гг.). СПб., 2007. С. 227–231.

³⁷ *Feller L.* L'exercice du pouvoir par Bérenger Ier roi d'Italie (888–915) et empereur (915–924). (Доклад, прочитанный на конференции «Королевская власть, знать, двор в эпоху средневековья», Москва, 16 апреля 2009 года.)

ставлен бескорыстным жестом монарха, целиком приписан его щедрости. Во Франции, по словам исследователя, это остается правилом до конца 910-х годов. Затем, однако, в преамбулах королевских дипломов возникает нечто новое. В конце правления Карла Простака дар понемногу стал увязываться с верностью подданного. Верность и служба начинают фигурировать в грамотах как предпосылка королевской щедрости и ожидаемое следствие даров. В дипломах правителей Италии похожие оговорки появляются чуть раньше — в правление Людовика II. При короле Беренгарии с конца 890-х годов связь даров с верностью и службой их получателей прямо заявляется как принцип королевской щедрости. Преамбулы дарственных грамот говорят о существовании такой связи уже со всей определенностью.

Объяснение, которое Феллер дает своему открытию, в то же время вызывает вопросы. Я бы назвал его немного поверхностным. Повторяя мнение, давно сложившееся в научной среде, историк справедливо рассматривает дары короля Беренгария как нечто близкое покупке. Факт сделки здесь эксплицитно описан и вряд ли может быть поставлен под сомнение. Но что тогда мы можем сказать, например, о грамотах Карла Лысого, где ничего подобного вроде бы нет, где дар — это дар, а не сделка? Согласно Феллеру, дарственные грамоты каролингского правителя служили демонстрацией власти. Не упоминая ответных услуг, они внушали чувство дистанции, давали понять невозможность любого соревнования и любой формы эквивалентного обмена между государем и его подданными, и это обязывало сильнее всех даров. Материальная ценность пожалования в такой связи отходит на задний план. В дипломах короля Беренгария, напротив, мы встречаем некое обнажение новой реальности. В них отбрасывается то, что стало фикцией. Беренгарий уже не мог возвышать и обязывать своих подданных своим выбором одного из многих. Ему оставалось покупать их расположение, которое дорого стоило. Здесь существует некое представление об эквивалентности, и ничего не делается просто так.

Я думаю, мы можем сказать больше. Для этого мы должны взглянуть на интересующий нас материал с точки зрения того, о чем реально идет речь, то есть рассмотреть дарения как таковые. В этой связи помощь нам может оказать Пьер Бурдьё, сумевший дать наиболее точное и полезное для исследователей определение дара. Он описывает дар как социальную альтернативу сделке. В отличие от сделки, дар создает длительные отношения между людьми. Как это происходит? Ключевым вопросом оказывается момент узнавания происходящего. Сделка предполагает расчет и понимание, целиком сосредоточенные в одной транзакции. В сделке все вопросы получают решение, и в этом смысле ее последствия для социальных отношений равны нулю. Их нет. Связь людей достижима путем отрицания логики

в человеческих поступках, а именно отрицания взаимной обусловленности дара и ответного дара. Они спрятаны в двух несвязанных точках времени. Социальное отношение идет по стопам череды действий, объявленных бессмысленными и бессвязными, как их связь и смысл.

«Функционирование обмена дарами, — пишет Бурдьё, — предполагает индивидуальное и коллективное непризнание истины объективного «механизма» обмена... ложь самому себе... Институционально организованное и гарантированное недоразумение лежит в основе обмена дарами и, может быть, вообще символической работы, имеющей в виду посредством чисто-сердечной фикции бескорыстного обмена превратить неизбежные и неизбежно корыстные отношения, какие налагаются родством, соседством или возникают по работе, в избирательные отношения взаимности»³⁸.

Дар есть обмен, отрицающий то, что он им является. Вооружившись этой констатацией, мы сможем лучше описать возникшую перед нами проблему. Дарственные грамоты Карла Лысого, взятые как материал для сравнения, в таком случае похожи на подлинные дары, тогда как пожалования Беренгария по своей сути есть нечто прямо противоположное обмену дарами. Будучи чередой сделок, они не налагают длительных отношений. Отсюда непомерный масштаб королевского расточительства. Если обязанности подданных оказываются тем, что правитель должен покупать, любое государство быстро вылетит в трубу. Это называется топить печь ассигнациями, и это то, что случилось с итальянским королевством в считанные десятилетия.

Не так давно другая исследовательница Барбара Розенвейн, которой Феллер, кажется, симпатизирует, попыталась оспорить давно сложившееся представление о правлении короля Беренгария. Согласно ее аргументации, мнение о нем как о «слабом правителе» зиждется на недопонимании особенностей средневекового государства. При Беренгарии, утверждает Розенвейн, государственная власть строилась как система личных связей, основанных на обмене дарами. Для нее он представляется идеальным примером такой формы взаимодействия, «a Gift-Giving King». Я думаю, это вопиющее заблуждение, и к этому подводят собственные наблюдения Барбары Розенвейн. Добившись императорской короны, Беренгарий I попытался действовать иначе. С этого времени, как образно выражается американская исследовательница, поток его пожалований превращается в тонкую струйку, что приводит Беренгария к разрыву с влиятельной группой знати, которая в ответ стремится призвать на итальянский трон другого правителя. Данный эпизод кажется Розенвейн весьма показательным: «Мы видим, — пишет она, — что пожалования Беренгария некоторое время отлично исполняют

³⁸ Bourdieu P. Sens pratique. P., 1980. P. 179–180, 191.

свою роль; отступничество 918 года стало следствием не его политики, а ее прекращения»³⁹. У Лиутпранда Кремонского к этому есть, как минимум, одна иллюстрация. Бунт мог быть подавлен в самом начале, но один из схваченных зачинщиков был передан по стражу архиепископу Ламберту Миланскому, который предпочел его отпустить и сам присоединился к мятежникам. Обиду Ламберта на Беренгария хронист объясняет тем, что при поставлении в сан тот по обычаю взыскал с него круглую сумму⁴⁰. Эти подробности, я бы сказал, больше напоминают денежные счета ушлых дельцов.

Лиутпранд сообщает о том, как Беренгарий пытался наладить отношения с мятежными баронами. Один из его врагов, граф города Бергамо Гислеберт, взятый в плен нанятыми Беренгарием венграми, не мог ожидать ничего, кроме смерти. «Но король, — пишет Лиутпранд, — по своему добросердечию, которого тот несколько не заслуживал, и склонности к состраданию расположенный к нему, не воздал злом за зло, как все того желали, а тотчас умыл от грязи, одел в лучшие одежды и отпустил со словами: «Я не требую от тебя никакой клятвы, а поручаю тебя твоей совести. Если пойдешь против меня, суди тебя Бог». Едва вернувшись домой, по поручению зятя короля Адальберта и других взбунтовавшихся вместе с ним, не помня оказанного благодеяния, тот отправился к [бургундскому королю. — И. Д.] Рудольфу добиваться его приезда. Не прошло и месяца со времени его отъезда, как Гислеберт заставил Рудольфа прибыть в Италию. Принятый всеми, из всего королевства Рудольф оставил Беренгарию одну Верону и правил страной три года»⁴¹.

Затем в хронике рассказано, что веронцы задумали убить Беренгария, о чем ему стало известно. Лидером заговора был назван некий Фламберт, «кого король сделал своим кумом, став крестным отцом его сына». Беренгарий якобы призвал Фламберта к себе и обратился к нему с такой речью: «Как поверить в то, что о тебе говорят, точно не было у меня до сих пор весомых причин по праву рассчитывать на твою любовь. Люди болтают, что ты злоумышляешь на мою жизнь, но я-то им не верю. Я только хочу, чтоб ты помнил, что как бы ни были велики твои чины и богатства, все досталось тебе моими благодеяниями. А потому ты должен относиться к нам так, чтобы я спокойно полагался на твою любовь и верность. Я думаю, никто и никогда не пекся так о своем здоровье и достатке, как я о том, чтобы ты был в чести. На это были направлены все мои старания, все дела, хлопоты, труды, всякая мысль об этом городе. Знай одно: если я удостоверюсь, что ты хранишь

мне верность, собственное спасение будет мне не так дорого, как отрадна возможность тебя отблагодарить». «Сказав это, король протянул Фламберту золотую чашу изрядного веса и добавил: «Любя меня, выпей это за мое здоровье, а сосуд оставь себе». Столь же демонстративно король после этого разговора заночевал «не в доме, где мог защититься, а как обычно — в хижине возле церкви». Верный ему Милон собрал войска и хотел было поставить ночную стражу, но Беренгарий «не только этого не позволил, но и настрого запретил». Поспешив с первыми петухами к заутрене, король услышал шум приближающихся воинов, во главе которых, «не помня прошлых и нынешних благодеяний», шествовал Фламберт. И снова Беренгарий разыгрывает наивность и идет в толпу своих врагов, где находит смерть»⁴².

Два эти места из Лиутпранда Кремонского было то первое, что я вспомнил, познакомившись с текстом Лорана Феллера. Действительно, мы узнаем, как Беренгарий пытается связать своих баронов, даря не только золотые чаши и лучшие платья, но и саму жизнь, которую, по идее, должен был отнять, демонстрируя то самое наигранное и рискованное «непонимание» происходящего, о котором говорит Бурдые, и наталкиваясь на стену нежелания завязывать такие отношения. «A Gift-Giving King» — называет его Барбара Розенвейн. Если верить Лиутпранду, Беренгарий хотел им быть, но этого не хотели его бароны.

В заключение хотелось бы обратить внимание на две распространенные ошибки историков, поднимающих тему обмена дарами. Во-первых, это стремление видеть отношения дара повсеместно, вчитывать их в любые встреченные формы обмена и формы отношений. Эта традиция идет от Жоржа Дюби, который отнес к дарам оброки крестьян своим сеньорам, виры, выплачиваемые убийцами для восстановления мира между семьями, церковные прекарии, приданое невест, подношения баронов своим правителям и дары тех этим и еще многое другое⁴³. Пример дарственных грамот королей и императоров XI–X веков показывает, что в действительности мы имеем дело с разными формами обмена, и если говорить о большинстве случаев, то это, возможно и скорее всего, окажутся вообще переходные случаи, в которых не будет ясности, что они собой представляют. Так будет уже потому, что взаимодействие предполагает две стороны и минимум две интерпретации. Чистота форм найдется где-то по краям. Чистые формы дара и сделки способны сориентировать нас, но не более того. Во-вторых, историки ошибаются, если верят в существование «механизма» обмена дарами, творящего социальные связи и отношения. Историю трудно разде-

³⁹ *Rosenwein B. Negotiating space. Power, restraint and privileges of immunity in early medieval Europe. Ithaca, 1999. P. 147.*

⁴⁰ *Liudprandi Antapodosis II, 57–59 // Die Werke Liudprands von Cremona/hg. J. Becker. Hannover, 1915. S. 63–64.*

⁴¹ *Liudprandi Antapodosis II, 63–64. S. 65–66.*

⁴² *Liudprandi Antapodosis II, 68–71, 72. S. 68–70.*

⁴³ *Duby G. Guerriers et paysans, VIIe — XIIe siècles: Premier essor de l'économie européenne. Paris, 1973 (глава «Prendre, donner, consacrer»).*

И. В. ДУБРОВСКИЙ. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

лить на причины и следствия. Такие картины во всех отношениях удобны кроме того, что они не выдерживают столкновения с реальностью. Нельзя заставить обмениваться дарами того, кто этого не хочет и не собирается этого делать. Их роль значительно скромнее. Дары, очевидно, помогают выстраивать определенные ситуации и извлекать из них выгоду. Надо ли огорчаться, что, сделав эти констатации, мы оставляем себя без привычного «инструмента познания»? По-моему, нет. Пожалуй, дело обстоит наоборот. Отбросив грубую схему, приписывающую дарам роль «механизма» установления социальных связей, мы получаем взамен возможность увидеть до сих пор не замеченные исторические факты и описать их. В самом деле, дарственные грамоты короля Беренгария, благодаря наблюдательности Лорана Феллера, проливают новый свет на темный период политической истории Запада, наступивший с концом Каролингской империи.

**РАБОТАТЬ
ИСТОРИКОМ**

Атмосфера нашего времени мало способствует плодотворной исследовательской деятельности. Теория исторической профессии расцвела у нас пышным цветом, заслонив ее практическую сторону и практический смысл.

Я хочу уделить внимание тому, как некоторые историки — конкретные люди с именами и фамилиями, авторы конкретных текстов — выступают историками на практике. В таком исследовании нет никакой специальной теоретической работы. Обычный навык работы с историческими свидетельствами историк поворачивает против написанного историками. В старых журналах это называлось «критикой и библиографией». Внимательность и критика такого рода должны раскрывать ошибки, перерастающие в дурные привычки ума и плохой пример для окружающих. Ошибки надо заметить, исправить, запомнить и постараться не допускать впредь. Деятельность такого рода, естественно, нацелена на конкретный случай, некий опубликованный текст. Но она имеет также важные косвенные последствия. Я говорю о важной общей атмосфере, в которой осуществляется научная работа и предъявление результатов исследований. Критический настрой должен сопутствовать научной деятельности. Показывая пример критики, мы определяем правила научной работы и отстаиваем их.

Во многих ситуациях обыденной жизни воспитанный и благоразумный человек скорее всего не станет спорить. Он не станет в любой ситуации доказывать другим людям, как они не правы. Это оправданная позиция. В нашей повседневной жизни истина часто не является тем, к чему мы стремимся. На первом месте для нас закономерно оказывается успех взаимодействия с другими людьми. Общение должно быть успешным, оно должно достигать поставленных целей. Первым условием этого зачастую является уважение к другим людям и другим мнениям. Историк лишен возможности поступать таким образом. Он не вправе верить в свою правоту про себя, как это делают все воспитанные люди. Для него отыскание истины есть главная цель и прямой смысл его трудов, а хорошие отношения с коллегами оказываются вторым вопросом. Применительно к коллегам такая обязанность, естественно, является не самой приятной. Историческая критика не может не касаться авторов, она затрагивает их лично. Нам остается признать искусственность ситуации, в ко-

торуую ставят себя историки, сказать об этом ясно, а не пытаться совместить историческую критику с некими правилами хорошего тона. В конце концов, это ситуация, в которую человек ставит себя сам. Трус не играет в хоккей.

Разговоры об относительности всех истин крайне популярны в наши дни. Мы являемся свидетелями более или менее явных попыток сформулировать запрет на научную полемику. В самом деле, наши знания частичны и относительны, потому что являются нашими конструкциями. Как выражался один человек, опыт не советует нам, что именно мы должны в нем увидеть. Науку делают люди своим умом и талантом. Тем не менее роль ученого в познании не делает познание «субъективным»: «Постижение не является ни произвольным актом, ни пассивным опытом; оно — ответственный акт, претендующий на всеобщность. Такого рода знание на самом деле *объективно*, поскольку позволяет установить контакт со скрытой реальностью»⁴⁴. Выводы историка должны сулить познавательный выигрыш, успех узнавания жизни. По верному замечанию М. Полани, понимание науки как личного знания помогает увидеть в ней поле личных рисков и личной ответственности ученого за свои убеждения. Толерантность в науке — другое название неверия ни во что и нежелания отвечать ни за что.

История и этнография

Васютин С. А. Основные этапы трансформации политических структур «дофеодальных обществ» в эпоху великого переселения народов и раннее средневековье // Средние века. Вып. 68, № 4.

Научная публикация заслуживает внимания и критики. Это отвечает ищущему духу науки. В данном случае меня задевает за живое не только отдельно взятый текст, но также волнуют принятые у нас правила исторических исследований.

Статья С. А. Васютина — обескураживающий пример работы в науке.

Автор пытается рассмотреть факты политической истории раннего средневековья при помощи неких теоретических положений, сформулированных в работах по этнографии. Предполагается, что есть некая убедительная картина, которую можно взять в одном месте и приложить к другому. Честно сказать, эти теоретические отсылки мне показались лишними и мало что добавляющими к нашему опыту наблюдения фактов. В своей исследовательской части статья строится на разборе (1) данных Цезаря и Тацита о «древних германцах» (узнанных автором из какой-то хрестоматии, т. е. в переводе на русский язык и частично) и (2) двух саг Снорри Стурлусона («Саги об Инглингах» и «Саги

⁴⁴ Полани М. Личностное знание. Благовещенск, 1998. С. 18.

о Харальде Прекрасноволосом», тоже в русских переводах). Каких-то принципиально новых прочтений этих текстов С. А. Васютиным не предложено. Потому вывод автора прост и понятен. Автор обращает наше внимание на различия в картине политического строя: в описании Снорри Стурлусона мы скорее найдем нечто похожее на «государство», чем в описаниях Цезаря и Тацита. С этим нельзя не согласиться. Остается неясным, зачем об этом сообщать в специальной статье. Автор считает, что новизна его текста видна на фоне «отечественной историографии». Критическое усилие С. А. Васютина сводится к попыткам разубедить читателя в уместности (или «разработанности») ряда ярлыков советского прошлого (как-то: «первобытный строй», «дофеодальное общество»). Книги, в полемике с которыми С. А. Васютин строит свое рассуждение, сплошь старые. Хочется спросить, у кого на деле есть те предубеждения, против которых восстает автор статьи? Если речь идет о практике преподавания истории в каких-то вузах (чего я просто могу не знать; сам автор — из Кемерово), то тогда об этом так и надо сказать. Тогда эти проблемы преподавания истории, но в любом случае — не факт «историографии».

Многими вещами, которыми не занимаются у нас, слава богу, с успехом занимаются исследователи в других странах. Основываясь в своей осведомленности только и исключительно на книгах, вышедших в России, Васютин не может участвовать в полноценном историографическом диалоге. Похоже, С. А. Васютин очень удивится, если я скажу, что в современной историографии рубежа древности и средних веков новаторское рассмотрение вопросов политической истории «варварских» народов в Европе первого тысячелетия связано с обращением к этнографии. Мощнее и раньше всего такой этнографический поворот в политической истории заявил о себе в Вене. Между прочим, Васютин мог бы это знать. Он как будто знает в русском переводе одну из классических монографий «Венской школы»⁴⁵. При этом С. А. Васютин понимает политический строй начала средних веков как некую саморазвивающуюся сущность, вырастающую из германских древностей и проходящую в своем развитии некие предрешенные этапы. Я с удовольствием напомню, в чем состоят отправные идеи «Wiener Schule». Если сказать совсем коротко, венские историки перестали искать «государство» у «древних германцев», а стремятся к пониманию народов Европы как фактов политической жизни⁴⁶.

⁴⁵ *Wolfram H. Die Goten: von den Anfängen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie.* München, 1990. Я обращаю внимание на подзаголовок.

⁴⁶ Кроме книги Вольфрама, см.: *Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes.* Köln, Graz, 1961; *Wolfram H. Die Goten: von den Anfängen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie.* München, 1990; *Pohl W. Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa. 567–822.* München, 1988. Назову также неплохую книгу П. Гири, который активно популяризирует работы венских исследователей: *Geary P. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe.* Princeton, 2002.

Прежде всего нам стоит избавиться от той картины «варваров», которая перешла к нам по наследству от греческой и римской этнографии. В понимании «древних германцев» мы невольно идем по стопам римских и греческих писателей. Повторяя за ними, мы незаметно для себя перенимаем схематизм их жизненного восприятия, начинаем думать, как они. Слова о чужих народах — способ, которым древние авторы стремились определить сходства и отличия между большими группами людей. Чужие народы, в их понятии, суть похожие между собой и неизменные единицы мира. Мир людей складывается из народов. А это означает, что все чужие люди обязательно какой-нибудь чужой народ. Они не могут оказаться, к примеру, просто бандой разбойничающего на римской границе случайного сброда. На Рейне в IV веке такие банды называли себя германским словом «аламанны», что приблизительно и значит «банда». Однако на устах римлян «аламанны» — это такое дикое племя. В глазах римлян и греков чужие племена построены на фундаментальном принципе происхождения. Гунны рождаются от гуннов, готы — от готов. Народ понимается не как отношение между людьми, а как некоторое качество, присвоенное индивиду лично неотъемлемым фактом его рождения. В каком-то обобщенном, но вполне серьезном смысле варварские народы мыслятся как коллективы дальних родственников. Отсюда, по убеждению древних, людей одного народа как родню объединяют узнаваемые черты физического облика — телосложение, цвет волос и т. п. В такой связи чужие народы рисуются частью скорее природы, нежели истории. Воображение греков и римлян отказывалось поверить в то, что народ может сформироваться или измениться на их глазах в переживаемых исторических обстоятельствах. Если народа не было, а потом он появился, значит, он переместился из неведомого пространства земли в известное. Древние римляне и греки были трезвыми людьми и трезвыми глазами смотрели на социальную жизнь. Но это у них касалось только самих себя. Рим и Греция виделись им «обществами», а не «племенами». Римская империя сделала римлянами половину света. Быть римлянином — социальный навык и правовое определение. Римлянами становятся, до цивилизации умственно и нравственно дорастают. Чужие «племена» — другое дело. Кому не дано жить в цивилизованном обществе, тех заведомо не может сплотить ничего, кроме глухого, животного зова крови. За описаниями варварских «народов» и их «переселений» в конечном счете встает античный стереотип понимания того, как соотносятся «цивилизация» и «варвары». Если древние авторы уверяют нас в факте эпохального «переселения народов», то это потому, что что-нибудь другое они элементарно затрудняются себе представить. Они загоняют себя в интеллектуальный тупик тем, что не признают у варваров наличия «общества», видят в них сплошные «народы», отправляют само понятие «народ» куда-то в область биологии. По-человечески их можно понять. Римляне и гре-

ки таким способом претендуют на законченное совершенство собственного мира. Едва ли, однако, мы обязаны плестись в хвосте их идеалов и интеллектуальных способностей. Взятые в исторической перспективе, народы напоминают движущиеся из прошлого в будущее монолиты. Сплошь и рядом мы сами примерно так и выражаемся. Это не лишено смысла, но чересчур образно. Народы — факты отношений между людьми.

Кто кого разрушил первым? Если варварский мир разрушил Римскую империю, то это случилось потому, что сначала Римская империя разрушила варварский мир. Рим и был настоящей причиной тех катаклизмов, которые потрясли Европу и в конечном счете привели к катастрофе его. Германский мир, каким мы его знаем в середине первого тысячелетия, обязан своим существованием инициативе и энергии Рима. Его экспансия переворачивала жизнь соседей. Военный, политический, культурный пресс империи уничтожал устоявшиеся формы жизни той части Европы, которая оставалась за ее границами. Завороженные величием и богатствами цивилизации средиземноморского юга, варвары стремились к тому же. Успех предприятия был настолько полным, что к концу античности, когда готы, бургунды, франки оказались хозяевами Римской империи, для них было уже совершенно невозможно представить самих себя, не прибегая к этнографическим, политическим, нравственным категориям Древнего Рима. Римляне хотели себе понятных и управляемых германцев. Им казалось проще и лучше иметь дело с немногими «вождями», которые бы контролировали своих соплеменников. С плохо организованной и управляемой массой населения не совладает никакая сила. С хаосом без толку воевать и ни о чем нельзя договориться. Сами римляне в своей практической политике насаждают среди своих соседей королевскую власть, фактически провоцируя их консолидацию. Варварские народы, разрушившие Римскую империю, стали продуктом драматического кризиса варварского мира, повлекшего за собой трансформацию традиционных варварских обществ. Он разразился с конца II века. Римляне знают его под именем «войны с маркоманнами». Для них это был тяжелый пограничный конфликт на Среднем Дунае. Император Марк Аврелий тогда опрометчиво передвинул несколько римских легионов с дунайской границы на Восток, после чего полчища квадов и маркоманнов дошли до Аквилеи. Только ценой огромных усилий и крови римляне в тот раз сумели переломить ситуацию в свою пользу. На стороне варваров выступили племена едва ли не всей Германии. «Война с маркоманнами» была на самом деле лишь мощным эхом грандиозной перестройки всего германского мира. Одни племена — те же маркоманны — навсегда исчезли. Сложились новые объединения. Бури конца II века радикально изменили саму структуру германских обществ, сделав их другими. В обстановке хронической военной нестабильности война становится главным де-

лом всех. Новые народы, построенные для войны, совпадают с войском. Такие воензированные народы — дело рук военных олигархий и вождей. Присоединяя разрозненные группы искателей приключений, ассимилируя разбитых врагов, новые германские племена слагались из разных людей, которые собирались вокруг относительно небольшого ядра и очень скоро начинали чувствовать себя сопричастными этому ядру и его этнической традиции. Имя единого народа и есть средство организовать людей. Подлинная этническая история «эпохи переселения народов» — это история непрерывного изменения, радикального нарушения преемственности, политических и культурных зигзагов, замаскированных повторяющимся присвоением старых слов для определения новой реальности. Неудивительно, что в какой-то момент «готами» оказываются одновременно два разных «народа»: у одних будет королевство в Испании и Галлии, у других — в Италии и Иллирике.

В книге Х. Вольфрама, которую С. А. Васютин вроде бы читал, разбирается любопытное сообщение «Страстей Саввы». Герой рассказа — мученик, павший жертвой гонений на христиан у готов-тервингов на Нижнем Дунае в 372 году⁴⁷. Религиозные ритуалы у готов-тервингов служат выражением принадлежности к народу готов, и христиане преследуются как отщепенцы. Решение о гонениях исходит от тервингской олигархии, озабоченной сохранением гетерогенной тервингской конфедерации. Зато деревенское общество, к которому принадлежит Савва, не претендует на попечение о сохранении этнического предания. Местные христиане, сказано в тексте, были всем «как родные». Деревня постановила во время «контрольной» жертвенной трапезы накормить христиан мясом, в действительности не освященным по языческому обряду. Но Савва воспротивился подобному обману, так что у деревенского общества не оставалось другого выхода, кроме его изгнания. Через некоторое время изгнанник возвращается в родные края, и деревня опять пытается его скрывать. Деревенские заправилы уже готовы принести ложную клятву в том, что в их селении нет христиан, когда Савва, как подобает мученику, вновь не дает себя спасти. Тогда деревня выдает упряма, но по-прежнему прячет тех христиан, кто согласился спрятаться.

Власть над такими «германцами» нужна для того, чтобы они не переставали быть «германцами» и не переходили в «римлян» или «гуннов». Говоря о тех же готах, мы должны подразумевать не некий стихийный и вневременный культурный субстрат, а трудную динамику принадлежности. «Германцы», какими мы их знаем, возникают из политической власти, а не наоборот.

Исследования, о которых идет речь, — завидный пример работы в науке. Они убеждают в том, что история может быть областью подлинных на-

⁴⁷ Wolfram H. Op. cit. S. 112–114.

учных трудов и открытий. Эти открытия оказываются необыкновенно важны для нашей сегодняшней, казалось бы, совсем другой жизни, ибо служат ее извращению от лжи, к которой историки сами приложили руку. «Святая любовь к родине воодушевляет», — гласил латинский девиз крупнейшего научного предприятия немецкой историографии «Исторические памятники Германии». Из высоких патристических соображений немецкие публикаторы древних памятников отказывались принимать деньги от русского царя⁴⁸. Понятие «переселение народов», патристический продукт немецкой учености позапрошлого века, было способом отстоять националистический миф о «древних германцах» и историческом противоборстве несоизмеримых этнических миров. Европейский национализм мыслит категориями исторических судеб, и мифология прошлого управляет национальным воображением. Планируемая Питтлером немецкая колонизация Причерноморья мыслилась как «восстановление» государства готов в Крыму, для чего предполагалось переименовать Симферополь в Готенбург, а Севастополь — в Теодериксхафен⁴⁹. История прошлых времен может быть поставлена на службу риторике агрессивного национализма. Он делает историю почвой, на которой вырастают ненависть и обман. Но, выходит, история способна сыграть в нашей культуре и другую роль. Она может быть инструментом критического мышления.

Я говорю обо всем этом так подробно не только и не столько ради того, чтобы упрекнуть С. А. Васютина в том, что он чего-то недочитал или недопонял. Я не утверждаю даже, что надо во всем последовать за приведенными констатациями, а только продолжаю разговор об «историографии». Настоящая проблема здесь только приоткрывается. То, что составляет задевающую меня особенность текста С. А. Васютина, есть определенный тип рационализма в научном исследовании. Я понимаю под этим отношение к опыту, способ работы с фактическим материалом истории. С. А. Васютин не делает отправным пунктом своей работы изучение исторических документов. Потому для него не возникает проблемы опыта, нет ничего неясного, сбивающего с толку, ничего, требующего решения. Опыт существует для Васютина только в преобразованном виде неких состоявшихся взглядов, уже оформленный ими; он не способен просто быть перед глазами и чему-то научить. Свою задачу автор видит в выборе наилучшей теории, ее иллюстрации и обосновании ее преимуществ.

Утверждение данной формы рационализма, проникшей сегодня во многие сферы жизни, очевидно, связано с картезианством и его местом в истории европейской науки⁵⁰. Возможность достижения ясного и отчетливого знания

⁴⁸ Косминский Е. А. Историография средних веков. М., 1963. С. 362.

⁴⁹ Wolfram H. Op. cit. S. 14.

⁵⁰ Оукиот М. Рационализм в политике // Оукиот М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. С. 7–37.

Декарт связал с задачей механического следования неким готовым правилам научной работы. Три больших открытия минувшего века ставят крест на таком понимании научной деятельности. Одно из них — рассмотрение проблемы «следования правилу». Я говорю о «скептическом парадоксе» Витгенштейна-Крипке. С точки зрения Декарта, у правила должно быть некое четкое содержание, которое можно усвоить и преподавать и которое способно повести нас в практических делах. Но именно это и ставится под сомнение. Нам кажется, пишет Витгенштейн, что правило способно направить наши действия в определенную сторону, как-то их предрешить. Мы готовы мыслить правила в качестве неких «машин» или «механизмов», несущих в себе свой образ действия как конструктивный принцип. Или это «рельсы» или «перила», которые помогут нам двигаться. Витгенштейн отвергает такую возможность и приписывает ошибку обманчивости языковых картин⁵¹. Согласно аргументации Витгенштейна, поддержанной и развернутой Солом Крипке, следование правилу — это просто поступок, за которым не стоит никакого «механизма», в частности — каких-то определенных фактов сознания⁵². Мы учимся поступать определенным образом. Правила нашей жизни — поведенческие, а не ментальные факты. В качестве ментальных фактов они закономерно оказываются вопросом интерпретации. Но всякой интерпретации всегда можно противопоставить другую интерпретацию. «Любая интерпретация повисает в воздухе вместе с интерпретируемым; она не в состоянии служить ему опорой»⁵³. Как выразился Витгенштейн, правило не содержит в себе своих будущих применений. Декарт имел в виду явно что-то другое.

Другим важным открытием мы обязаны трудам «исторического направления» в философии науки. После Томаса Куна мы точно знаем, что правила в науке действительно не играют той роли, которую им приписывает Декарт. Традиционным представлениям о здании науки, построенном на законах и логике, Кун противопоставляет идею авторитетных «примеров» исследовательской практики. Не некие правила, а именно такие авторитетные «примеры», дающие образцы деятельности ученого, картины того, как надо совершать действие, служат подготовке научной молодежи. Но если правила научной работы не играют определяющей роли, то как же тогда мы приходим к тем картинам, которые мы имеем, нашему знанию вещей внешнего мира? Образы вещей, по мнению Куна, возникают не путем некоей методической процедуры, а являются сразу как целостные системы, в которых приходит решение вопроса.

⁵¹ Витгенштейн Л. Философские исследования, 193–194, 218, 220 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. 159–161, 167, 168; он же, Замечания по основаниям математики, V, 45 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. II. Кн. 1. М., 1994. С. 203.

⁵² Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. Томск, 2005.

⁵³ Витгенштейн Л. Философские исследования, 198. С. 162.

«Элементарные прототипы для этих преобразований мира ученых убедительно представляют известные демонстрации с переключением зрительного гештальта. То, что казалось ученому уткой..., оказывалось кроликом»⁵⁴. Это и есть третий концептуальный прорыв, о котором я хотел напомнить. Гештальт-психологи внесли неоценимый вклад в теорию восприятия. Впервые описанный ими схематизм мышления позволил по-новому представить весь процесс формирования представлений об окружающем мире. Мы принимаем в расчет поле «данных» совсем не так, как утверждает картезианская образность «правильного ума». В такой ситуации нет ничего «иррационального». Напротив, если говорить о «разуме» и «разумном решении», то именно «гештальты», дающие самостоятельное понимание целого, влекущие нас к овладению жизненной ситуацией, являются их подлинным критерием. «Поэтому этот признак, — пишет Вольфганг Кёлер, — возникновение всего решения в целом в соответствии со структурой поля — должен быть принят как критерий разумного поведения»⁵⁵.

Три научных открытия, спаянные вместе, части одной скоординированной исследовательской программы (неопределенность правила, выстроенность науки на примерах, восприятие в форме целостных картин), несут новое понимание научной деятельности. Между научными данными и концептуальными схемами не существует логического моста, некоего строгого отношения, гарантирующего их связь и позволяющего ходить туда-сюда. Мы рассматриваем наши теории «как продукты воображения, создаваемые специально для того, чтобы с их помощью изучать природу»⁵⁶. Они должны представлять рациональные пути, проложенные в фактах. Наблюдение фактов должно быть основанием для концептуальной работы. Историк это известно лучше кого бы то ни было. Представления историков может доставать философской строгости, но, как разумные люди, они действуют разумно. В том-то и дело, что авторы, о которых я говорю, описывают не то, «как надо», а то, что есть. Слоган Витгенштейна «Не думай, а смотри!» и кредо историков «Историческая работа делается при помощи документов» («L'histoire se fait avec des documents»)⁵⁷ недаром звучит так похоже. Если все сказанное можно назвать подлинной революцией в эпистемологии, то историк, послушав все это, с полным правом может сказать, что ничего нового он для себя не узнал. Витгенштейн и Крипке, Кун и Полани, Вертгеймер и Кёлер только объясняют учеными словами то, что историку не надо объяснять.

⁵⁴ Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 151. Речь идет о психологическом тесте «утки-кролика», упомянутом у Витгенштейна (Витгенштейн Л. Философские исследования, II, 11. С. 278).

⁵⁵ Кёлер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. М., 1930. С. 148.

⁵⁶ Кун Т. Логика открытия или психология исследования? // Философия науки. Вып. 3. Проблемы анализа знания. М., 1997. С. 31.

⁵⁷ Langlois Ch.-V., Seignobos Ch. Introduction aux études historiques. P., 1992. P. 29.

Работа исследователя должна соединить в убедительное целое несколько дескриптивных планов. Материал должен быть «хорошим», т.е. отвечать совокупности теоретических интуиций. То и это требует соотношения с существующей научной литературой. Наконец, за всяким высказыванием о мире с неизбежностью встают вполне определенные картины мира, языка и познания. Это вопросы, требующие ответа, и всякий автор прямо или косвенно дает на них свой ответ. Таково первое условие разговора о фактах. Второе заключается в том, что связывание дескриптивных планов не может совершиться в полной мере. То, что надо связать, — разные вещи. Устанавливая связь уровней описания, мы не должны закрывать глаза на то, что в ней есть насильственного. Будет лучше, если мы постараемся, по мере возможности, не смешивать и не путать разные планы рассмотрения волнующих нас тем. Разбор исторических данных сначала должен стоять на своих ногах. Обсудить общие вопросы можно потом. К примеру, так написаны «Эскиз теории практики» и «Различение» Бурдьё. Как всякая стоящая аналитическая работа, мысль Бурдьё вырастает из исследований и служит им. «По мнению автора «Различения», совершенная теория больше похожа на хамелеона, чем на павлина: не пытаясь привлечь к себе внимания, она растворяется в своем эмпирическом окружении; она заимствует цвета, тона и формы конкретного объекта, определенного в отношении места и времени, за который, как кажется, она просто ухватилась, тогда как в действительности она его *создала*»⁵⁸. Не стоит путать исследование и рассказ о нем. Если существует узус написания научной работы, которая открывается «постановкой проблемы», «историографией» и т.д., то это вопрос лингвистической прагматики. Участники коммуникации должны находить такую форму разговора, которая ведет к взаимопониманию кратчайшим путем. Автору удобно не тянуть из читателя жилы, а сразу сообщить, какую проблему он решает. Беда в том, что такой путь изложения повторяет нормальную исследовательскую процедуру с точностью до наоборот.

Любое готовое «правило», которому мы захотим «последовать», будь то «проблема», «теория» или «метод», останется нашей интерпретацией. К слову сказать, история «антропологии» в нашей медиэвистике предстает поучительной иллюстрацией этого ценного наблюдения. Вспоминая Гуревича, я смогу назвать совсем немного работ этнографов, действительно воспринятых в его работе. Я подозреваю, что такой список исчерпывается «Очерком о даре» Марселя Мосса. Положа руку на сердце, надо сказать, что никто из признанных классиков «антропологии» истекшего века не стал настольной книгой отечественных медиэвистов. Скорее историки с помощью слов об «антропологии» стремились оживить некоторые проблемы и методы, давно апро-

⁵⁸ *Вакан Л.* Дюркгейм и Бурдьё: общее основание и трещины в нем // Социоанализ Пьера Бурдьё. М., СПб., 2001. С. 187.

бированные историками. В частности, «антропология» Гуревича при ближайшем рассмотрении может показаться сродни почтенной историографической традиции описания «культуры германцев» (В. Грэнбек и др.). В таком следовании антропологическому «методу» нет никакого недоразумения, а, напротив, есть упомянутая закономерность: «Наш парадокс был таким: ни один образ действия не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действия можно привести в соответствие с этим правилом... Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия»⁵⁹. Тут может быть характер, стиль, но не «метод». Образование не помешает. Нельзя заменить труд и талант «теорией» или «методом», которые все сделают за тебя.

Корпоративный строй

Эксле О. Г. Действительность и знание: очерки социальной истории средневековья. М., 2007.

Навык исторической работы складывается из умения читать и писать. Идеальной формой работы в истории служит книга. Книга ставит перед глазами исследователя большой материал. Это не то, что можно сделать «в голове». Когда историк не говорит в подробностях о материале, он теряет его из виду и как минимум не совершает своей работы. Не будем заблуждаться на тот счет, как именно мы в состоянии работать головой. Наши познавательные акты необратимы и некритичны. Мы рабы наших картин. Автор статьи не сталкивается ни с чем, что не было бы его готовым убеждением. Объем обсуждаемой информации действительно играет определяющую роль. В книге есть некое существенное нарушение логики опыта, а именно ликвидация его длительности. Вещи, увиденные по отдельности, оказываются в ней поставленными вместе. Она способна взорвать ложную веру в единство и согласованность нашего опыта и отсутствие проблем. Дело историка — писать книги. Это путь превращения работы с историческими материалами в полноценную экспериментальную и критическую деятельность.

Речь пойдет об одном огорчительном примере переводного издания. Я имею в виду сборник статей немецкого историка Отто Герхарда Эксле из Гёттингена. Эксле не пишет книг, но в изобилии пишет статьи. Статьи, составившие нашу подборку, написаны в разное время и давно. Автор не дал предисловия, но, может быть, он и прав. Статьи обладают единством. Их общая логика, возможно, прочитывается без лишних объяснений. Я хочу сказать, что это единство составляют предвзятые идеи автора, которые и внушаются читателю как сделанные открытия.

⁵⁹ *Витгенштейн Л.* Философские исследования, 201. С. 163.

Автор поднимает проблему «средневековых корпораций», или, как выражается он, «жизни людей в группах» в средние века. Ключевые материалы посвящены рассмотрению «гильдий», «заговоров» и «коммун». Другие статьи, по мысли автора, примыкают к этим как дополнительное раскрытие «культурных» аспектов темы.

«Корпоративный строй» — один из конвенциональных эпитетов западного средневековья, очевидно, второй по популярности после «феодализма»⁶⁰. Они сопоставимы по сути. Надо ясно себе представлять, в каких ситуациях подобные определения возникают в качестве уместных и осмысленных. «Корпорации в средние века» в среде историков эпохи отнюдь не являются востребованной исследовательской темой. Специалисту по истории генуэзской торговли или средневекового монашества, археологу, раскапывающему деревенское поселение в Провансе или Нижней Вестфалии, может нечасто приходиться в голову, что его исследование является конкретным примером рассмотрения общего вопроса о «корпоративном строе средних веков». Можно написать дельную книгу по средневековой социальной истории, ни словом не обмолвившись ни о «феодализме», ни о «корпоративном строе». Разговор о корпорациях как принципиальной особенности и отличительной черте общественной жизни в средние века — не та сфера, где совершается практическая систематизация и классификация частного материала в исследованиях средневековых обществ. Он возникает в другой связи. «Средневековые корпорации» предстают понятием из области политической философии и макроисторических теорий. Оно стоит в одном ряду с такими понятиями, как «феодализм», «средневековье», «личность», «капитализм», «модернизация», «секуляризация», «рационализация» и т. д.

Какие констатации входят или могут входить в круг понятия «корпоративный строй средних веков»? Я почти цитирую соответствующий раздел книги Гуревича «Категории средневековой культуры», который дает пример видения вопроса. В основе общественной жизни в средние века, пишет Гуревич, лежали два организующих принципа: отношения между людьми строились «по вертикали» и «по горизонтали». С одной стороны, над каждым «средневековым человеком» стоял господин, его сеньор. С другой стороны, все «средневековые люди» являлись членами «горизонтальных» групп или корпораций: монахи объединялись с монахами в монастыри, ремесленники с ремесленниками — в цехи, крестьяне образовывали деревенские общины и т. д. Такие корпорации не были насажены сверху. Они рождались как ответ на чаяние найти помощь и защиту на основе взаимного обмена услугами и поддержкой. Частная инициатива, принципы всеобщего согласия и самоуправления находили в корпорациях

⁶⁰ О «феодализме» см.: Дубровский И. В. Как я понимаю феодализм // Наст. издани.

свое живое воплощение. Но в то же самое время корпорация ставила преграды на пути новаторского поведения «средневекового человека». Группа давала ему не только гарантированную общественную роль и права, но также навязывала определенное поведение и образ мыслей. В каждой корпорации складывались и затем подвергались строгой кодификации особые правила внутреннего распорядка и поведения своих членов — всевозможные средневековые регламенты, статуты, писанные и неписанные кодексы поведения. Пресечению подлежали любые уклонения от нормы. Наказанию мог быть подвергнут не только тот член ремесленной корпорации, который производил изделия худшего качества, но и тот, кто работал больше и лучше других. Технические новинки встречали препятствие для своего внедрения в жизнь, поскольку рассматривались как угроза установленному порядку и равенству членов коллектива⁶¹.

Надо заметить, что это простое и по-человечески понятное описание. Оно правдоподобно в том безусловном смысле, что без больших натяжек приложимо практически к любой человеческой жизни. В те же выражениях, лишь заменяя анахронизмы, мы, очевидно, можем отозваться о любом человеке и любых социальных обстоятельствах. Не случайно историки не бросаются на понятие «средневековых корпораций», чтобы использовать его в своей практической работе. Достаточно очевидно, в какой определяющей мере картина «средневековых корпораций» зависит от рассмотрения тех «исторических перемен», которые сопрягаются с идеологически нагруженными понятиями «капитализма» (плоско увиденного как поле свободного и творческого соревнования индивидов) и отвечающей эпохе «капитализма» «новоевропейской личности» (которая определяется через простое противопоставление недоразвитому существу «средневекового человека»). Дело разыгрывается в небольших, но существенных акцентах. Все зависит от того, какие факты мы принимаем в расчет и подчеркиваем как наиболее важные и показательные. Мы можем противопоставить «средневековые корпорации» «капитализму» и «новоевропейской личности». Либо мы можем увидеть в «средневековых корпорациях» альтернативу «феодалному строю» и преддверие «капитализма» и «новоевропейской личности». Такая метаисторическая подоплека тезиса о «корпоративном» социальном строе средних веков переносится в другие речевые ситуации. Смена угла зрения и даже смена одного из объектов осуществляемого сравнения ничего не меняют по существу. «Прокапиталистическая» интерпретация средневековых корпораций по тому же сценарию легко превращает в «антикапиталистическую». Если же «корпоративный строй» выступает линией сравнения Запада с Русью или Византией⁶², то выводы законо-

⁶¹ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 200 сл.

⁶² Каждан А. П. Микроструктуры в Византии VIII–IX веков // XVIII Международный конгресс византистов. Пленарные доклады. М., 1991. С. 84–101.

мерно лежат в области критики тоталитарной власти и ограниченности исторических перспектив. С таким аналитическим инструментом, как понятие «корпоративного строя» средних веков, мы вечно оказываемся в плену одних и тех же вопросов и одних и тех же ответов и их зеркальных отражений.

Мысль Эксле работает по изложенной схеме. Он стремится расставить акценты, придав картине то значение, которое ему кажется правильным. Если говорить об истории личности и подразумевать под этим развитие ее самостоятельности, то средневековые корпорации, по мнению Эксле, скорее близки капитализму, нежели далеки от него. Члены средневековых корпораций — люди Нового времени, живущие в средние века, носители и проводники того развившегося самосознания личности, которое затем воплотится в капитализме и демократии.

Как автор делает такой нешуточный вывод? Что-то подсказывает, что каждый человек в каком-то смысле самостоятелен и несамостоятелен. Как можно взвесить свободу и необходимость в жизни людей и обществ и не ошибиться? Немецкий ученый находит для себя такую возможность. Согласно Эксле, мы должны увидеть, в чем заключается действие: якобы это и будет ответом на вопрос о содержании сознания действующего лица и о его «личности» как таковой. В понимании Эксле сам факт самостоятельного объединения в «корпорации» достаточно характеризует их членов как активных людей, умеющих позаботиться о своих интересах не хуже человека наших дней. «Личность», ее «цели и ценности» проявляются в поступках, потому что поступки, утверждает он, ими обусловлены. Человек поступает так, как подсказывают ему его «цели и ценности». Следовательно, по мнению Эксле, факты социальной истории будут свидетельствовать о мышлении и других фактах внутренней жизни, например о «личности», а те в свою очередь должны быть расценены как косвенные, но вполне достоверные данные по социальной истории. Достаточно знать то или это, чтобы иметь полную картину. Эта мысль есть главный методологический принцип немецкого автора и причина, по которой он соединяет в один сборник статьи по социальной истории и истории идей. Если кто-то скажет, что между ними не видно связи, значит, он не уловил сказанного методологического принципа. В методологическом смысле Эксле опирается на Макса Вебера и идущую от него традицию «понимающей социологии» (но только до книги Бергера и Лукмана⁶³).

Ошибочность позиции Вебера с очевидностью вытекает из тезиса Витгенштейна-Крипке, о котором уже шла речь. «Скептический парадокс» утверждает, что социальное поведение — то есть любое «следование правилу» — не имеет скрытых «механизмов» в виде неких определенных фактов

⁶³ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.

человеческого сознания. Он неслучайно сформулирован на материале философии математики. Математические правила нам представляются наиболее определенными, имеющими какой-то «механизм», и нам труднее всего поверить, что его там нет. Потому на все остальные человеческие правила «скептический парадокс» распространяется автоматически. Едва ли я могу сказать об этом подробнее. Книга здравствующего гения Сола Крипке есть в русском переводе и даже двух⁶⁴, так что каждый желающий легко может с ней ознакомиться. Я хочу подчеркнуть, что «скептический парадокс» не является «мнением», которое можно разделять или не разделять. Он доказанный философский аргумент. Чтобы его «не принять», надо найти ошибку в аргументации.

Свое практическое знание историки черпают не из философских рассуждений. Чтобы не согласиться с Вебером, достаточно быть историком, внимательно работая с историческим материалом. Стремление Вебера жестко связать социальные факты с миром идей и типом человеческой личности, ее «целями и ценностями» находит оппонента в лице Броделя. Исследовательский опыт подсказывает французскому историку, что «однозначное, «идеалистическое» объяснение, делающее из капитализма воплощение определенного типа мышления, всего лишь увертка»⁶⁵. «Все историки, — пишет Бродель, — выступают против этого остроумного положения, хотя им и не удается от него избавиться раз и навсегда: оно снова и снова возникает перед ними. А между тем это явно неверное положение»⁶⁶. Я хотел бы пояснить эту мысль, потому что это важно. Бродель обращает наше внимание на определенную закономерность. Действительно, приписывание другим людям фактов сознания следует тенью за нашими высказываниями о действии. Логик назовет это явно избыточным, поскольку это не эквивалентно никакому аспекту внешнего поведения, единственно доступного наблюдению. Логически правильно было бы просто сказать, что люди ведут себя таким-то образом. Если мы упорно принимаем сознание за основу поступка, его «механизм», то в этом есть определенная психологическая реакция с нашей стороны, особенность восприятия других людей. Проникновение в чужое сознание, очевидно, переживается нами как условие, при котором человеческое действие представляется нам понятным. Чему нет психологического объяснения, воспринимается как непонятное. Мы не можем говорить о Гитлере, не подразумевая «фашистской идеологии»? — А что если историки не могут ее найти? — Вопрос в том, чтобы

⁶⁴ Перевод В. А. Ладова и В. А. Суровцева упомянут в прим. 10. Предыдущий перевод В. П. Руднева (без примечаний и приложения) опубликован в журнале «Логос» за 1999 год, № 1. С. 151–185.

⁶⁵ Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв., т. 2: Игры обмена, М., 1988. С. 400, 575–577 (цит. по с. 400).

⁶⁶ Он же, Динамика капитализма, Смоленск, 1993. С. 70–71.

не путать свою собственную психологическую потребность в психологических причинах с наблюдаемым фактом.

Эксле стремится подчеркнуть в «средневековых корпорациях» явления человеческой инициативы, осмысленного и разумного выбора. Потому, говоря о сознании, немецкий ученый противопоставляет существующему в историографии понятию «ментальностей» понятия «знание» и «идеология», которые лучше согласуются с его идеей движущей силы «целей и ценностей». Понятие «ментальностей» не устраивает автора, потому что подразумевает некие факты, остающиеся на периферии сознания. Фактически разговор о «ментальностях» означает признание известного автоматизма человеческого поведения, «бездумных» поступков. Я тоже думаю, что историки изрядно злоупотребили разговорами о «ментальностях». Возможно, как аналитический инструмент это понятие мало на что годится. И все же, я бы сказал, оно по меньшей мере называет нечто важно, дает увидеть отношение сознания, культуры и поступков в более правильном свете. Я думаю, в нем заключена завидная историческая наблюдательность, чтобы так просто с ним распрощаться. Социология оканчивается для Эксле на «социологии знания» Бергера и Лукмана. Я хочу напомнить о двух важных исследовательских проектах в современной социологии, которые существенным образом проясняют темы «ментальностей» и «знания». Речь пойдет о молчаливой полемике Пьера Бурдьё со своими учениками Люком Больтански и Лораном Тевено. Хочу сразу оговориться, почему обращаю внимание на работы этих авторов, а не какие-то другие, и считаю эту отсылку обязательной. Авторы, о которых я говорю, прежде всего блестящие исследователи, сумевшие показать и заставившие увидеть новые факты социальной жизни. По Витгенштейну, все, чего нам недостает, — это умение и готовность видеть факты; все, что нам может пригодиться, — это опыт наблюдения фактов.

Если у Бурдьё есть «теория», то она «похожа на хамелеона». Пьер Бурдьё ушел от макроисторических теорий, казавшихся предназначением социального знания до него, ради исследования «действия в ситуациях». Он отказывается понимать практику в терминах сугубо логических решений. Автор предпринимает несколько связанных попыток наметить контуры другой «теории практики». Используя такие определения, как *habitus*, «практическое чувство», «чувство игры», Бурдьё стремится связать большую часть человеческого поведения с практическим умением. Речь идет об особой способности к жизни и действию, усвоенной из прошлого опыта и связанной с культурной средой. В этом смысле поступки не являются также до конца «индивидуальными». Бурдьё, таким образом, находит путь преодоления ложной разъединенности «индивидуального» и «коллективного». Очевидно, нечто похожее на *habitus* Бурдьё историки имеют в виду, когда говорят об общих «ментальностях», ко-

торые проявляются в разных человеческих поступках. Примером исследования фактов такого рода может служить книга Эрвина Панофского «Готическая архитектура и схоластика». «Послесловие» к этой книге и стало первым тестом Бурдьё, в котором он наделяет термин *habitus* таким особым смыслом⁶⁷.

Кажется, это весьма правдоподобно как описание наблюдаемых фактов. Такая картина человеческого действия лучше подготавливает нас к следующим наблюдениям. Однако понятие *habitus* явно не может послужить нам в роли привычного теоретического инструмента, ибо не является объяснением человеческого поступков. Мы ждем от понятия, что оно объяснит нам причину того, что нечто случается так, а не иначе. Французский исследователь обоснованно противопоставляет свою «теорию практики» терминам строгой причинности. *Habitus* — умение действовать в ответ на ситуацию, которая во всех отношениях будет новой и неиспробованной, потому что история не повторяется; ни одна жизненная ситуация не повторяется. Подобно Витгенштейну, Бурдьё отказывается искать в действиях людей некий «механизм», способный производить определенные действия. «Понятие *habitus* было выдуманно... для того, что отдать себе отчет в этом парадоксе: поведение может быть сориентировано в отношении неких целей, не будучи сознательно направленным на эти цели, управляемым этими целями»⁶⁸. Эту важную параллель между Витгенштейном и Бурдьё проводит хороший французский философ Жак Бувресс. Критическое отношение к Бурдьё, распространенное в среде французских социологов, Бувресс объясняет предрассудком психологизма, верой в психологические причины⁶⁹.

Другой материал разрабатывают Больтански и Тевено⁷⁰. Если для Бурдьё важно подчеркнуть заключенное в действии «ученое незнание», то они следуют «рациональную» и «дискурсивную» сторону социальной жизни. Проект французских социологов означает внимание к практикуемым «формам реализма». Работы Больтански и Тевено являются продолжением традиции «понимающей социологии», веры в мысли как причины. «Скептический парадокс» ставит на ней жирный крест. Действовать в социальном мире не всегда означает действовать в соответствии с какой-то интерпретацией, и согласованию в действиях людей подлежат не интерпретации, а сами действия. Вместе с тем я хочу сказать, что Больтански и Тевено открывают целый материк новых данных и фактически рисуют новую картину «рационального». Они, во-первых, сумели описать целый ряд самостоятельных моделей обобщения

⁶⁷ Bourdieu P. Postface // Panofsky E. Architecture gothique et pensée scolastique. P., 1967. P. 133–167.

⁶⁸ Idem. Fieldwork in philosophy // Bourdieu P. Choses dites. P., 1987. P. 20.

⁶⁹ Бувресс Ж. Правила, диспозиции и габутус // Социоанализ Пьера Бурдьё. С. 224–249.

⁷⁰ Boltanski L., Thévenot L. De la justification. Les économies de la grandeur. P., 1991.

социального опыта, множественность и динамизм типов «рационального»; во-вторых — социальную природу «рациональных» схем. «Рациональное» в социальной жизни — результат социальной жизни, борьбы с другими людьми. Тевено верно замечает, что взгляды Вебера на «личность» как инстанцию «рационального» и детерминизм «целей и ценностей» больше не отвечают нашему опыту наблюдения фактов⁷¹.

Историческая интерпретация, о которой идет речь в статьях Эксле, тоже принадлежит Макс Веберу и временам Макса Вебера. Она изложена в работе «Город», опубликованной посмертно сначала в виде отдельной книги, а затем как глава «Хозяйства и общества»⁷². В ней Вебер говорит о том, что ему представляется важным своеобразие западноевропейского города средних веков. По его словам, средневековый город отличается особым социальным строем, который должен считаться фактором, предопределившим рождение «современного капитализма» и «современного государства». Город в средние века возникает путем революции как коммуна, свободная ассоциация граждан, связавших себя клятвой. По мысли немецкого теоретика, он демонстрирует пример новых отношений между людьми, которые делают сферу права предметом своих договоренностей, и то же касается таких социальных форм, как гильдии, цехи и братства. Вебер настаивает на различии «институтов» и «союзов»⁷³. С его точки зрения, средневековые города, гильдии и братства — объединения в форме свободного «союза», заключенные и существующие по доброй воле. Эти идеи сами по себе кажутся довольно странными. Трудно себе представить, чтобы устойчивые социальные формы могли существовать на такой неверной почве, как чистые суммы взаимных интересов и возможностей. По мысли английского антрополога Мэри Дуглас, «договоры» должны претерпеть «натурализацию»: практической потребности должна быть противопоставлена адекватность природе мира, «когда на вопрос, почему поступают именно так, — даже если первый ответ сформулирован в терминах взаимного соответствия, — возможно ответить *in fine* ссылкой на движение планет в небе или естественное поведение растений, животных или людей»⁷⁴. То, что клятва рассматривается у Вебера чуть ли не главной иллюстрацией и доказательством свободной формы объединения, очевидно, является недо-разумением. Возможно, косвенным образом клятвы свидетельствуют о том, что люди о чем-то договорились, хотя скорее всего это не является свойс-

⁷¹ Тевено Л. Рациональность и социальные нормы: преодоленное противоречие? // Экономическая социология. Т. 2, № 1, 2001. С. 88–122.

⁷² Вебер М. Город // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 309–446.

⁷³ Он же, О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 522–545.

⁷⁴ Douglas M. How Institutions Think. Syracuse, N. Y., 1986, Ch. 4.

твом всех клятв. Но в прямом смысле клятва выступает отрицанием действий по своему желанию и в своих интересах. Клятва и есть пример «натурализации», о которой говорит Мэри Дуглас.

Исторический материал, безбожно изнасилованный политической философией Макса Вебера, давно и успешно исследуется историками. О городских коммунах, гильдиях купцов, ремесленных цехах в средние века есть большая и ценная историческая литература. В том числе, естественно, она есть в нашей стране. Книга Эксле с пересказом идей Макса Вебера вышла в свет в культурной стране. Я не знаю, какие обстоятельства создают положение автора в научном мире Германии. В данном случае, очевидно, это не имеет никакого значения. Автор должен показать себя как историк, а не носитель идей. Он должен показать себя человеком, способным плодотворно и убедительно работать с историческими текстами. Обращение Эксле с материалом источников и важными работами исследователей оставляет самое гнетущее впечатление. Можно написать книгу о книгах, которые он игнорирует безо всяких объяснений.

Такое пренебрежение историческим исследованием во имя предвзятых идей мне хочется проиллюстрировать на одном примере из нашей исторической литературы. Речь пойдет о книге Оттокара «Опыты по истории французских городов»⁷⁵. Это замечательное исследование разрушает взгляды XIX века, которые Эксле отстаивает как ни в чем не бывало. Я говорю о выношенной XIX веком и некритически воспринятой Вебером идее «коммунальной революции».

Если Эксле связывает «коммуны» и «заговоры» с разрушением власти и обстановкой политического вакуума, то Оттокар не считает, что городское самоуправление в средние века возникает на пустом месте, и может это доказать. Оно не результат заполнения «горизонтальными связями» пустот, по каким-то причинам оставшихся без «вертикальных связей» и где царит хаос и война всех против всех. Абсурдно приравнивать возникновение коммун к возникновению города. Городской мир предшествует учреждению коммуны и может так никогда и не оформиться в коммуны. Городов, так и не ставших коммунами, как известно, было большинство. Это не догадка и не версия, а реальное содержание показаний источников, имеющихся в нашем распоряжении. До утверждения коммунальной автономии город уже жил одной общей жизнью и осознавался как одно обособленное целое. Такому существованию, замечает Оттокар, может недоставать внешнего единства в виде единственного источника власти. Городской мир может быть сферой прав разных лиц и учреждений. Вряд ли это что-то меняет по существу, делает го-

⁷⁵ Оттокар Н. П. Опыты по истории французских городов в средние века. Пермь, 1919; Ottokar N. Le città francesi nel Medio Evo. Firenze, 1927.

род не существующим. Проблема городского мира, которую решают коммуны, не безвластие, а избытие властей. Отношение города и коммуны Оттокар описывает как разнородность и объединение разнородного. Рождение коммунального самоуправления подразумевает интеграцию и новое оформление того, что прежде было властью епископа, моментами публичной или сеньориальной власти. Самоуправление горожан — не некий параллельный мир, рожденный пустотой. Коммуна, к примеру, может скрываться за бесспорным правовым авторитетом епископской власти, деля с ней реальную власть. Так достигается значительная степень влияния городского общества на управление. Главным путем становления городского самоуправления Оттокар называет такое ползучее «обобществление» существующих властей и институтов.

Процесс развития городского самоуправления долог и сложен и скрыт от торопливых глаз. Он не только не исчерпывается «заговорами» горожан, но временами даже не находится с ними в прямой связи. «Нормальное городское самоуправление существует независимо от этих «коммун» (в специфическом смысле) и *coniurationes*, не с ними рождается и не с ними погибает»⁷⁶. Оттокар убедительно показывает, что даже в тех городах, где история коммун знает красочные эпизоды насильственной борьбы с «заговорами» и «клятвами», они не сыграли ощутимой роли в становлении городских институтов. Какой след они оставили в истории городского самоуправления, зачастую не ясно. Чаще всего поводом к коллективному выступлению горожан служит внешняя угроза, события внешней истории городов. «Стремление горожан к самоуправлению и свободе отнюдь не есть что-то органическое и постоянное, чем всегда можно легко и просто объяснить всякое городское движение, всякую городскую борьбу»⁷⁷. Избавляясь от готовых идей, мы получаем взамен богатство узнанной жизни и возможность быть ее историком.

Оттокар справедливо расценивал свою книгу как методологическое введение в исследование средневековых городов. По склонности нашего мышления к реификациям, насильственным обобщениям текучих жизненных впечатлений, мы часто оперируем фиктивными и грубыми представлениями о жизни и часто забываем об этом. Мы легко забываем, что «само это разложение исторической действительности на ряды «институтов» или «явлений» есть не более как бессильная, человеческая попытка оторвать и зафиксировать частные аспекты текучей исторической массы, неразрывно связанные с этой массой и *только в ней понятные и живые*»⁷⁸. Читая в источниках о «коммунах» и «заговорах» средневековых горожан, «мы сразу понимаем, в чем дело, и, не задумываясь, относим их к определенным «явлениям» городской жизни».

⁷⁶ Оттокар Н. П. Ук. соч. С. 46.

⁷⁷ Там же. С. 57.

⁷⁸ Там же. С. 244.

ни». «Между тем истинный смысл данного движения (непреренно *данного* движения, а не «городских движений» вообще) мы познаем лишь тогда, когда поставим его в связь со всей жизненной обстановкой, со всей реальной конъюнктурой данного момента. Те конкретные народные выступления, которые историки называют «коммунальным движением», суть не какое-то известное нам, постоянное и определенное «явление», а ряд различных, только в данный момент и в данном сочетании понятных комбинаций»⁷⁹. Мы совершаем дальнейшую ошибку, когда и людям того времени приписываем наши представления и начинаем определять «идеальные «цели» городского развития в связи с более или менее абстрактными потребностями средневекового «торгового человека»⁸⁰. Оттокар выступает против обобщений «на такой фиктивной почве». Чтобы воспользоваться опытом, мы нуждаемся в его обобщении. Нам нужны аналитические гипотезы, способные учесть многие факты и открыть нам нечто большее, чем сумма фактов. Вопрос в том, чтобы такой схематизм не навязывался историческому материалу извне, а вырос из работы с текстами. В принципе это будет такая же предвзятая идея. Но «эта предвзятость может быть плодотворна, если она определяется всей совокупностью впечатлений от источников». «Опасна лишь такая предвзятость, которая извне исходит в своих суждениях, толкованиях и оценках. Опасна еще предвзятость шаблона, обличающая в сущности глубокую безучастность и равнодушие к делу. Это самый распространенный вид предвзятости»⁸¹. Оттокар берет на себя смелость утверждать, что настоящее исследование средневековых французских городов на основе реальных показаний источников в его время еще не начиналось⁸². Автор имеет в виду потребность в другом умении читать исторические источники. Историки должны «научиться улавливать своеобразный жизненный смысл каждого текста, вместо того, чтобы воспринимать всякие источники как нечто принципиально однородное и равнозначное»: «гораздо чаще они говорят о разном, чем утверждают разное об одном и том же»⁸³. Недаром книга, о которой идет речь, называется «Опыты».

«Конкретно-историческое по своей теме, это исследование Оттокара свидетельствовало о рождении нового творческого сознания и разрыве с господствующими представлениями о задачах и методах работы историка... В сущности, речь идет о фундаментальных проблемах исторической науки — медиевистики, о ее познавательных возможностях. Это — призыв к обновлению истории, к реконструкции на новых научных основах европейской исто-

⁷⁹ Оттокар Н. П. Ук. соч. С. 8.

⁸⁰ Там же. С. 244–245.

⁸¹ Оттокар Н. П. Ук. соч. С. 84–85.

⁸² Там же. С. 257.

⁸³ Там же. С. 157.

рии и истории средневекового города как ее части», — так описывает работу Н. П. Оттокара А. Л. Ястребицкая⁸⁴.

Коллективизм в средневековом городе нуждается в специальном исследовании. Я хочу привести самый простой и наглядный пример, который может оценить каждый. Для этого даже не надо читать книг, а только прогуляться по улицам Венеции.

Облик этого города несет отпечаток политической идеологии олигархического государства. С конца средневековья в Венеции развился своеобразный идеологический штамп, за которым в наше время закрепилось наименование «венецианского мифа». Официальная идеология превозносила государственный строй Венеции как наиболее устойчивый и отвечающий интересам всех. Венеция изображалась как своего рода механизм коллективного счастья, обеспечивающий идеальное соотношение интересов человека и общества. Следствием этого тезиса была насаждавшаяся этика равенства, долга и самопожертвования правящего патрициата.

Градостроительную и архитектурную иллюстрацию этого круга идей можно воочию видеть в готических дворцах Венеции. В конце средневековья сотни правящих в городе семейств перестраивают свои дома в едином архитектурном стиле венецианской готики; их сохранилось около двухсот. Венецианскую готику при этом отличает архитектурный консерватизм вкупе с выраженным стремлением к внешнему единству. Роскошное убранство дворцов сочетается с относительной идентичностью усвоенных архитектурных форм и размеров. Патрицианские жилища Венеции XV века утверждают принадлежность их обитателей к избранному кругу как к кругу равных, где ценятся скромность и добронравие, чистый и умеренный образ жизни, где не стремятся к почестям и не кичатся богатством. Если взять для сравнения флорентийские палаццо того же времени, то их строили с другими идеями в голове. Во Флоренции дома лучших семейств возведены с тем расчетом, чтобы демонстрировать превосходство и неповторимость их обитателей. Цель такой архитектуры — показать всему миру единственных в своем роде Строцци, Ручеллаи, Медичи. То же касается портретной живописи. Если флорентийские художники «открывают человека» и старательно ищут «характер», то в Венеции предпочтение отдается коллективным портретам. Местные живописцы превозносят в человеке венецианского патриция или дожа его общественную роль, а не подробности его психологии. В этих фактах истории искусства Венеции и Флоренции спорят два пути понимания личности, ее счастья и ее настоящей ценности.

⁸⁴ Ястребицкая А. Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995. С. 119, 122.

Если из готики в Венеции вышел архитектурный пересказ «венецианского мифа», то с новыми ренессансными веяниями такого откровенно не получилось. Перемену архитектурной стилистики венецианских палаццо знаменовали постройки Кодуччи и затем Сансовино и Санмикеле, и они стали свидетельством драматического провала идеологии. В начале XVI века дож Леонардо Лоредан выступает с критикой новой архитектуры венецианских дворцов. Ее монументальность больше не отвечала традиционной политике консолидации венецианского патрициата, а вела к его разобщению. С идеалами случилось то, что с ними случается. Их больше не предъявляли самим себе. Идеалы остались для суда над другими. Величественный дворец семьи Лоредан, известный теперь под именем Вендрамин-Калерджи, был построен по проекту Мауро Кодуччи в правление дожа Леонардо Лоредана. Его преемник Андреа Гритти критикует показное великолепие дворца Лоредан. С этого времени городским властям остается блюсти венецианский коллективизм в архитектуре публичных площадей и зданий.

Эти простые наблюдения показывают суть вопроса. Городской коллективизм необъясним в логике простых следствий институциональных форм. Он является практикой, которую практикуют и которая требует немалых трудов и венецианского упорства. Немецкий профессор Эксле желает описать некие факты коллективизма в средние века, не касаясь самих фактов.

По мнению Эксле, мысль о том, что жизнь не укладывается в схемы, есть «нищешанство», которое надо гордо игнорировать. По-моему, то, как Ницше описывает конструктивный принцип наших понятий, ставит работу в истории выше всех наук. Один профессор физической химии пишет об этом так: «Высшие ступени формализации делают суждения науки более строгими, ее выводы — более безличностными; но каждый шаг в направлении к этому идеалу достигается путем все большей жертвы содержанием. Неизмеримое богатство живых форм, над которым царствуют описательные науки, сужается в сфере точных наук до простого считывания указаний стрелок на приборах; а когда мы переходим к чистой математике, опыт вообще исчезает из нашего непосредственного поля зрения... Чтобы описывать опыт более полно, язык должен быть менее точным»⁸⁵. Предмет истории сформирован иначе, ибо историк не теряет из виду конкретной человеческой ситуации. Опыт историка может показать простое сложным и сделать предметом критики ложное чувство уверенности в вещах. Ницше строг к историкам, потому что многого от них ждет.

⁸⁵ Полани М. Ук. соч. С. 126.

ОТТОКАР И ДРУГИЕ

*Nicola Ottokar storico del Medioevo. Da Pietroburgo a
Firenze/A cura di L. Pubblici e R. Risaliti. Presentazione di
G. Cherubini. Firenze, 2008.*

Исторические исследования Николая Оттокара показывают идеальный пример работы в истории. Сделанное им так надежно, что не устарело ни в чем. Его разборы исторических материалов до сих пор выглядят безупречными. Мы слишком просто соглашаемся с тем, что в исторической работе одни прочтения источников с течением лет послушно сменяются другими. Так бывает не всегда, и дело историка, чтобы так не было. Имея перед глазами пример Оттокара, поневоле задумаешься о судьбе нашей науки.

От Николая Петровича Оттокара (1884–1957) остались два исторических исследования. «Опыты по истории французских городов в средние века» вышли в Перми в 1919 году. В 1926 году на итальянском языке была опубликована его вторая книга «Флорентийская коммуна в конце XIII века», а через год вышел итальянский перевод его исследования о французских городах⁸⁶. Италия стала для Оттокара второй родиной. С середины 1920-х годов он возглавлял кафедру средневековой истории во Флорентийском университете.

Сборник статей об Оттокаре, о котором пойдет речь, подготовлен преподавателями Флорентийского университета — известным славистом Ренато Ризалити и молодым медиевистом Лоренцо Пуббличи⁸⁷. Честно сказать, я ожидал от этой книги большего. Но, видимо, зря, и то, какая она, не случайность.

Итальянскую историографию связывают с трудами Оттокара отношения, которые правильно будет назвать сложными. Его книга о флорентийской коммуне признана классической. Это действительно филигранное исследование социальной истории средневекового города, показывающее порочность простых и общих схем. Исторические картины Оттокара вырастают из отточенной работы с историческими документами. Но именно поэтому такое исследование трудно или нельзя повторить. Сам Оттокар за четверть века своего профессорства другой такой книги не написал, как не оставил после себя науч-

⁸⁶ *Оттокар Н. П.* Опыты по истории французских городов в средние века. Пермь, 1919; *Ottokar N.* Le città francesi nel Medio Evo. Saggi storici. Firenze: Vallecchi, 1927; Idem. Il Comune di Firenze alla fine del Dugento. Firenze: Vallecchi, 1926 (2-е испр. изд. — Torino: Einaudi, 1962, 1970, 1974). См. также его сборник статей: Idem. Studi comunali e fiorentini. Firenze: La Nuova Italia, 1948.

⁸⁷ Nicola Ottokar storico del Medioevo. Da Pietroburgo a Firenze / A cura di L. Pubblici e R. Risaliti. Presentazione di G. Cherubini. Firenze, 2008.

ной школы. Обучение студентов, научная школа предполагают определенный догматизм: хотя бы какой-то круг готовых идей об истории и возможности ее изучения. Обучение предполагает, что якобы существует возможность начать с малого, пойти по стопам. Оттокар — человек предельной научной честности, и для него таких готовых идей и возможностей нет. Учеником Оттокара называл себя замечательный датский историк Флоренции Йохан Плеснер, о чем сам Николай Петрович вспоминал с гордостью⁸⁸. Но Плеснер посещал его лекции, уже будучи начинающим исследователем. Видимо, это характерный случай. Оттокар мог быть водителем тому, кто умеет ходить своими ногами.

Другие маститые итальянские историки при этом имели идеи и учеников. В частности — Гаэтано Сальвемини. Книга Оттокара «Флорентийская коммуна в конце XIII века» написана в полемике с его работой «Магнаты и пополаны во Флоренции с 1280 по 1295 годы» (1899). «Магнаты и пополаны» навесяно автору «Манифестом Коммунистической партии» и иллюстрируют тезис о борьбе классов на примере средневековой Флоренции. События конца XIII века охарактеризованы Сальвемини как момент перехода власти в руки городской буржуазии. По его мнению, это происходит в результате классового конфликта, которым продиктованы и могут быть объяснены главные факты бурной политической истории Флоренции в эти годы. Николай Оттокар отнюдь не считает эту проблематику надуманной или неважной, но выступает за то, чтобы историк делал свои выводы на основе работы с историческими документами, не давая себе увлечься готовыми идеями. Его рассказ о тех же самых событиях демонстрирует значительно более сложную картину социальных и политических отношений и конфликтов.

Сальвемини был не только историком, но также известным общественным деятелем и антифашистом. За антифашистскую деятельность он был арестован, затем отпущен по амнистии и уехал за границу. Кафедра во Флорентийском университете перешла к Оттокару от него, хотя утверждения в должности ординарного профессора Николаю Петровичу пришлось дожидаться еще несколько лет. Это и его лояльность к фашизму в глазах итальянских медиевистов бросает тень на его имя, тем более что ученики и ученики учеников Сальвемини в конце концов оказались повсюду, включая тот же Флорентийский университет.

До появления сборника под редакцией Ризалити и Пуббличчи вся итальянская литература об Оттокаре, как ни странно, исчерпывалась одной статьей Эрнесто Сестана, которая перепечатывается в качестве «введения» к переизданиям

⁸⁸ *Ottokar N. Il comune di Firenze // Studi comunali e fiorentini. P. 69.* В 16 лет Плеснер оставил лицей и стал авангардным художником. Десять лет спустя сжег все свои картины и в 1922 году поступил в Копенгагенский университет. Речь идет о его диссертации: Plesner J. *L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIIIe siècle.* København, 1934.

«Флорентийской коммуны». Честно сказать, я еще надеялся, что память о Николае Петровиче в каком-то виде сохраняется в стенах университета, которому он отдал тридцать лет своей жизни. Сегодня ясно, что ничего этого нет.

Предисловие к сборнику написано Джованни Керубини, нынешним ординарным профессором средневековой истории во Флорентийском университете. По его мнению, Оттокар заводит социальных историков в темный лес, не давая видеть главные линии истории социально-экономических классов в средневековом городе, смело и мощно прочерченные Сальвемини. «Мои симпатии, — пишет Керубини, — принадлежат скорее этому последнему и его пусть схематичной, но могучей классовой точке зрения».

Тут мы улавливаем сразу что-то до боли знакомое и родное. Можно сравнить эту позицию и эти формулировки с тем отношением к работам Оттокара, которое существовало в Советском Союзе. Мера их неприятия в нашей стране оказалась крайней. Автор не попадал даже в сферу оскорбительной, но хотя бы отчасти информативной «критики буржуазной историографии». Надо заметить, что для советской историографии в целом это нехарактерно. Она походила скорее на потолок Сикстинской капеллы, где истины исходят одновременно от христианских пророков и апостолов и языческих сивилл. Но чтобы быть воспринятым в среде советских историков, надо было быть с ними одной крови, мыслить, как они. Оттокара они не воспринимали и видели в нем только злокозненное отрицание идей, составлявших костяк «марксистского понимания истории». Выступая против «представления о возникновении и росте города как торгово-промышленного центра в процессе борьбы горожан с феодальным окружением», он, как утверждалось, предложил «дворянско-кулацкий» вариант городской истории средневековья⁸⁹. «В слепой ненависти не только к марксизму, но и вообще ко всякому материалистическому подходу к истории этот оголтелый эмигрант отрицает то, что недвусмысленно, неоспоримо и прямо подтверждают источники: наличие во Флоренции XIII–XIV веков ожесточенной классовой борьбы»⁹⁰. После 1940-х годов из книг советских историков, в том числе пишущих о Флоренции, зачастую исчезает само упоминание о Н. П. Оттокаре и его фундаментальных трудах. Оттокар и советская историография разошлись как в море корабли. Главной, коренной причиной этого, по моему разумению, было глубокое взаимное непонимание в том, что касается сути работы историка: идеализм советских историков, который они называли материализмом.

То, что такое неприятие являлось самым искренним и шло от сердца, доказывает отношение к творчеству Оттокара сегодня. С концом Советского

⁸⁹ *Вайнштейн О. Л. Историография средних веков.* М., Л., 1940. С. 284–285.

⁹⁰ *Гуковский М. А. Итальянское Возрождение.* Т. 1. Л., 1947. С. 309.

Союза интерес к нему не пробудился. Я затрудняюсь назвать другого мало-мальски известного дореволюционного автора, чьи сочинения не были бы переизданы в наши дни. С Николаем Оттокаром дело обстоит именно так. В Италии он по крайней мере переиздается, у нас нет.

Профессор Керубини тоже немногословен, он отсылает читателя к другой своей статье, где о споре Оттокара и Сальвемини якобы сказано подробнее⁹¹. Я бы посоветовал в нее заглянуть. Хотя этому научному спору в ней уделено тринадцать строк, пол-абзаца, автор успевает сообщить нечто интересное. Своим соотечественникам автор ставит в пример историков из других стран. (Сами итальянцы, вероятно, большие скептики, но могут послушать других.) Если верить Керубини, обсуждаемые факты политической истории Флоренции конца XIII века были еще раз «подробно и убедительно» проанализированы в советской и американской историографии, и в Америке и в Советском Союзе историки сошлись во мнении, что Флоренция демонстрирует ранний пример исторической победы буржуазии и первых ростков капитализма⁹².

Это пояснение само по себе требует пояснений. Керубини подталкивает итальянских читателей к признанию правоты Сальвемини, повинного, по его словам, только в излишнем схематизме. Но если говорить о позиции Оттокара, то вряд ли она состоит в простом отрицании сказанного. В таком общем смысле и общих словах, наверно, и он мог бы повторить примерно то же самое. На протяжении большей части XIII века самой влиятельной политической силой в городе были соперничающие аристократические партии, тогда как во Флоренции XIV века они отстранены от власти, и активно развиваются торговля и предпринимательство. Обо всем этом не так просто сказать в том смысле, что приходится мучительно подбирать слова. Подходят ли слова «буржуазия» и «капитализм» к реалиям средних веков или надо придумать и ввести новые? Но в целом картина такова. Если мы охватим взглядом два столетия истории Флоренции, то, конечно, увидим примерно такую картину, а о словах можно договориться.

Но ведь это только увиденная нами историческая картина. Последователи «исторического материализма», который, повторяю, представляет собой идеализм в самом грубом и неприкрытом виде, отказываются считать это суждение только нашей картиной. Для них это описание некоей абсолютной сути, пронизывающей вещи, поступки, ситуации. Марксисты мысленно помещают внутри истории хитроумный механизм. Слова о «буржуазии» и «капитализме» приносят определенность во все остальное, организуют мир: отсюда ясны су-

⁹¹ *Cherubini G. Gaetano Salvemini. Testimonianza // L'Università degli Studi di Firenze fra istituzioni e cultura/a cura di S. Rogari e C. Beccuti, Firenze, 2005. P. 55–61.*

⁹² *Cherubini G. Gaetano Salvemini. Testimonianza // L'Università degli Studi di Firenze fra istituzioni e cultura/a cura di S. Rogari e C. Beccuti, Firenze, 2005. P. 58.*

ществующие общественные классы, их естественный антагонизм и вырастающее из этих классовых конфликтов общественно-историческое движение. Дальнейшая работа с историческими документами для приверженцев мнимого материализма сводится к отысканию иллюстраций.

Оттокар выступает против грубого редуционизма в описании социальных отношений и политической борьбы. Реальные социальные отношения при ближайшем рассмотрении оказываются более чем сложными и запутанными, и кто есть кто, зачастую не ясно. Автор не думает отрицать социальные и экономические конфликты, раскалывающие флорентийское общество. Однако реалии политической жизни Флоренции в конце Дуеченто во многих случаях продиктованы не ими. Если из города рыцарей Флоренция в конце концов превратилась в город торговцев, то это результат истории, в которой переплелось очень многое. Возможно и скорее всего, само понятие причинности будет искусственным привнесением в эту картину. Ниже я обязательно расскажу обо всем по порядку. Содержание книг Оттокара нужно обстоятельно проговорить.

Пока я хочу сказать, что своим оппонентам он действительно непонятен. Он показывает какие-то факты, которые не сопряжены с другими фактами, не составляют с ними неразрывную ткань связанного исторического повествования. Если шестеренка не приводит в действие другую шестеренку, а крутится просто так, значит, она не является частью работающего механизма. Для последователей Маркса метафорой истории служит машина, механизм, — и творчество Н. П. Оттокара, следовательно, вообще не является полноценным историческим знанием.

Вопрос в том, чтобы это доказать. Прочтения источников, предложенные Оттокаром, требуется аргументированно оспорить. Ссылки Джованни Керубини на историографии зарубежных стран остается понять в том смысле, что сами итальянские медиевисты с этой задачей до сих пор не справились. Я могу подтвердить, что так оно и есть. Исследования зарубежных авторов, которые, по утверждению Керубини, якобы бросают новый свет на политическую историю Флоренции в конце XIII века и подтверждают правоту Сальвемини, им не названы. О каких исследованиях идет речь, остается догадываться. Я в состоянии прокомментировать сделанное в советской историографии.

Вопреки утверждению Керубини, в Советском Союзе подобных работ не велось. Котельникова и Рутенбург имели свое мнение и высказывали его, но этими историческими событиями никогда специально не занимались. Видимо, только два советских медиевиста могут быть названы исследователями данных материалов, да и то с большой натяжкой. М. А. Луковский выпустил книгу «Итальянское Возрождение», в которой он на нескольких страницах останавливается на интересующих нас событиях флорентийской истории

и дает им знакомое марксистское объяснение. Об Оттокаре он отзывается весьма неприязненно, однако ни одного конкретного положения его работы с документами в руках не оспаривает. Интересно заметить, что Гуковский поступает так же, как Керубини. По его выражению, «махрово-реакционные писания Оттокара встретили решительный отпор у всех честных представителей буржуазной науки». Их книги и надо смотреть, а он присоединяется⁹³. Вторым нашим исследователем был еще совсем молодой Л. М. Баткин, написавший кандидатскую диссертацию о социально-политических воззрениях Данте. Правда, Данте начинает принимать участие в политической жизни Флоренции только в 1295 году, и взгляд Баткина поневоле ретроспективен. Его полемика с Оттокаром, которого он сравнивает с реакционным епископом Беркли, признававшим вещи, но не общие идеи, также вращается вокруг требования признать реальность социально-экономических классов и их определяющей борьбы⁹⁴. Аргументация молодого ученого, напитанного марксизмом и желанием понравиться старшим товарищам, выглядит довольно беспомощной. Но он по крайней мере прочитывает Оттокара с интересом и вниманием и впервые в нашей литературе немного рассказывает не только о том, чего в текстах Оттокара не хватает, но и о том, что в них есть, с какими мыслями они написаны. Занятно, как поменялись взгляды и высказывания Баткина десять лет спустя. В главе о городских коммунах, написанной для «Истории Италии», он по-прежнему отзывается о Н. П. Оттокаре в полемическом тоне, но на деле едва ли не ко всему сказанному им готов прислушаться, соглашаясь думать, что правота марксизма яснее всего видна в исторической перспективе⁹⁵.

Несколько лет назад я слышал от Ризалити, что он собирался издавать какие-то лекции Оттокара, и с нетерпением ждал этой публикации. Вместо них на страницах рецензируемого сборника мы встречаем перепечатку большой обобщающей статьи Оттокара «Городские коммуны в средние века». Согласно Керубини, историк должен быстрее двигаться к обобщениям и большим историческим картинам, тогда как Оттокар в своих книгах погрязает в бессвязностях. Я думаю, эта перепечатка яснее ясного показывает, какого Оттокара некоторые итальянские историки хотят и принимают.

Свое отрицательное отношение к Оттокару Керубини стремится обосновать разговорами о неприемлемости скептицизма. В своем предисловии он соглашается с тем, сколь обманчивы бывают исторические обобщения. «Но я предпочту скорее, — продолжает он, — последовать за этой грезой,

⁹³ Гуковский М. А. Ук. соч. Т. 1. С. 53–59, 309.

⁹⁴ Баткин Л. М. Флорентийские гранды и поправки 6 июля 1295 года к «Установлениям Правосудия» // Средние века. Вып. 20. М., 1961. С. 75–97.

⁹⁵ Он же. Период городских коммун // История Италии. Т. 1. М., 1970. С. 200–272.

чем забиться в счастливом неведении, в невозможности понять, в той мысли, что люди бредут на ощупь по огромному лесу мира безо всякой способности повернуть к лучшему свое будущее (хотя, конечно, не буду отрицать, что частенько они сбивались с пути). Я это к тому, что я, конечно, осуждаю Оттокара или, во всяком случае, его сложный подход к прошлому»⁹⁶.

Неследование своей схеме Керубини приравнивает к отказу от идеала познания. А как нам назвать человека, предлагающего игнорировать убедительные исторические описания только потому, что они не укладываются на ложе его схемы? Коллингвуд высказался об историческом скептицизме весьма пронизательно: скептицизм — Немезида идеализма в истории. Такова плата за стремление представлять мир в терминах подспудных сущностей, что составляет противоположность подлинно исторической точке зрения. Метафизика сущностей «ведет к своего рода пораженьству в отношении точности исторического описания, к недобросовестности исторического сознания как такового»⁹⁷.

Работой в области социальной истории Н. П. Оттокар и Дж. Керубини называют разные вещи. Синьор Керубини считает ее содержанием находение повсюду одной общей схемы. Для Оттокара она предстает другим занятием. История воспринимается прежде всего полем неузнанных фактов. Работа с историческими документами может привести к открытию важных сведений, раздвинуть наше понимание древних обществ и того, как может быть устроена общественная жизнь вообще. Ученый должен делать открытия, открывать и описывать нечто новое. Если говорить об ориентации в жизни, что так волнует Керубини, такая исследовательская практика лучше способна нас вооружить, чем догматическое принятие мнимой «общей картины», которая хороша только своей связностью и сходством с машиной.

Профессор Керубини смело признает, что его взгляд на историю средних веков навеян классовой борьбой при капитализме. Он не собирается смущаться по этому поводу, поскольку такая предвзятость ему кажется общечеловеческой. По словам автора предисловия, в книгах Н. П. Оттокара она тоже есть, просто другая. Оттокар приписывает свой взгляд внимательному и непредвзятому прочтению исторических источников. Керубини не так прост, чтобы в это поверить. Эти объективные истоки исследовательской мысли Оттокара и надо выяснить. Здесь до читателя доходит, почему сборник составлен немного странно. Вопреки названию книги, об «Оттокаре как историке средних веков» в ней речи не идет. Интерес составителей лежит в области истории культуры России, русско-итальянских культурных связей, биографии и личности

⁹⁶ Cherubini G. Presentazione // Nicola Ottokar storico del Medioevo. P. 9.

⁹⁷ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 45.

Оттокара. Оказывается, книга написана, чтобы... вывести Оттокара на чистую воду. По крайней мере, так ее представляет читателю автор предисловия. То, что из этой затеи ничего особо вразумительного не получилось, его не смущает. Керубини пишет так: а что вы хотели? Любая книга — только начало пути; надо идти дальше, постараться глубже вникнуть в загадки культуры и интеллектуальных традиций России, в отношении Оттокара к фашистскому режиму.. Такого предисловия к сборнику об ученом я не читал ни разу в жизни.

Материалы, подготовленные Ренато Ризалити и Лоренцо Пуббличчи, имеют к Оттокару косвенное отношение или, лучше сказать, не имеют никакого. Это обзоры, посвященные русской эмиграции, теме средневековой религиозности в работах Льва Карсавина; переводы писем Карсавина и Гревса с выяснением их отношений, перевод дневниковых записей Гревса о его первом приезде в Италию.

Как ни странно, сборник вырывают две статьи наших авторов, специально посвященные Н. П. Оттокару. Статья Б. С. Кагановича «Николай Оттокар в кругу петербургских медиевистов» — типичный продукт наших историографических традиций, которые не лучше итальянских.

Некоторые наблюдения автора точны и существенны. Важными среди них я бы назвал два. Каганович справедливо замечает, что книга Оттокара «Флорентийская коммуна в конце XIII века», вышедшая в Италии в 1926 году, была в основном написана еще до Мировой войны. В 1914 году Оттокару пришлось спешно вернуться в Россию, оставив во Флоренции все подготовительные материалы и рукописи. В качестве первой книги Оттокара мы знаем ту, которая была написана второй. Все творчество ученого, таким образом, укладывается в «русский период», не оставляя ничего для «итальянского». Оттокар перестал писать еще раньше, чем можно подумать. Это интересная тема, к которой мы вернемся.

Другое справедливое и существенное замечание Б. С. Кагановича касается отношений Оттокара с французской «школой Анналов» и ее основателями Марком Блоком и Люсьеном Февром. Первую попытку «реабилитации» Н. П. Оттокара в нашей историографии предпринял А. Л. Ястребицкая. Дело было на заре перестройки, когда наши бывшие марксисты кинулись в объятья «Анналов» и все хорошее в исторической науке тогда называлось этим словом. А. Л. Ястребицкая усмотрела родство Оттокара и основателей «Анналов», конечно, не в плане конкретных идей, но в области духа и тяги к обновлению⁹⁸. Стоит согласиться с Б. С. Кагановичем в том, что такая параллель кажется сомнительной. (Я снова прошу читателя набраться терпения, потому что хочу обязательно вернуться к этому вопросу.)

⁹⁸ Ястребицкая А. Л. Европейский город. М., 1993. С. 245–249.

Это ценные замечания, хотя лежащие на поверхности. При этом само исследование Кагановича остается в плену представления об исторических сущностях. Ветер перемен сдул с нашей исторической литературы марксистские одежды, но от этого только обнажился ее идеализм. Реальностью, с которой автор стремится соотнести творчество Оттокара, выступает «петербургская школа» историков. Как выпускник Петербургского университета, Оттокар, по мысли Кагановича, должен к ней принадлежать. Его работа по истории французских средневековых городов была воспринята петербургскими историками по-разному, но в основном критически. Хотя он получил за эту книгу искомую научную степень, споры вокруг «Опытов» обнажили его расхождение со многими из них. Каганович присоединяется ко всем возражениям и даже преувеличивает их⁹⁹. Он принимает на себя роль аттестационной комиссии и выносит отрицательный вердикт. Принадлежность Оттокара к «петербургской школе» показана автором как весьма условная, а его методология неверной. Одно связано с другим.

Даже в советских учебниках буржуазной историографии до такого не доходило. Анализ оставался хотя бы отчасти содержательным. Я напомним, что в качестве учебного пособия студентам в Советском Союзе предлагалась книга Е. В. Гутновой «Историография средних веков»¹⁰⁰. Имя Оттокара в ней не упоминалось совсем. О существовании такого исследователя начинающим историкам знать не полагалось. В то же время базовые категории рассмотренного историографического материала выглядят более разумными. В отечественной историографии начала XX века Е. В. Гутнова выделяла «социально-экономическое направление», «культурно-историческое направление» и «кризис буржуазной исторической мысли» в форме «критического направления». Один историк в начале своего творчества мог проходить по одной рубрике, а в конце — по другой. В расчет принималось написанное.

Эти наблюдения грубы, хотя, наверное, отвечают жанру учебного пособия, где схематизм приветствуется. Но я обращаю внимание на сам принцип. Для тех, кто читал хотя бы учебник Гутновой, определения «петербургские историки» или «петербургская школа» мало что говорят по существу. Они искусственно объединяют разных людей, не связанных строгой традицией. Даже О. А. Добиаш-Рожественскую, которую называют самой верной ученицей И. М. Гревса, правильнее будет назвать ученицей французских историков Лота и Ланглуа. Каганович и Ризалити сблизят двух других его «учеников» —

⁹⁹ Например, Б. С. Каганович прочитывает как пример неприятия Н. П. Оттокара статью: Цемш Н. С. Проблема происхождения французского города в научной литературе // Россия и Запад. Исторические сборники под ред. А. И. Заозерского. Кн. 1. Петербург, 1923. Ср.: Пресняков А. Е. Из научной журналистики // Анналы, № 3, 1923. С. 283. Пресняков увидел в статье Цемша высокую оценку исследования Оттокара. Признаться, я понял ее так же.

¹⁰⁰ М., 1974; 2-е изд. испр. и доп., М., 1985.

Оттокара и Карсавина. Однако я бы сказал, что взаимный интерес этих ученых к творчеству друг друга вырос из их дружеских отношений и не заходил далеко. Кагановичу, очевидно, кажется, что он провел некое исследование. Беда в том, что мы не узнали ничего. Я никогда не думал, что мне выпадет случай нахваливать книгу Гутновой. Задачей исследователя творчества Н. П. Оттокара должно быть соотнесение его книг с теми работами его коллег, которые могут быть с ними соотнесены. Какие это работы, и надо выяснить. Ничего, если выяснится, что они написаны «московскими историками». Разве не интересно сравнить исследовательскую работу Оттокара с «Бургундской деревней» Н. П. Грацианского, опубликованной только в 1935 году, но написанной в 1920-х, или с монографиями А. Н. Савина по отдельным английским манорам, которые он писал в 1910-х годах? Здесь можно сразу не попасть в точку, однако в любом случае такие исследования не будут потерянным временем.

Совсем другое впечатление оставляет работа А. К. и В. А. Клементьевых. Подготовленный ими текст — собрание материалов к биографии ученого, главным образом писем. Авторы предельно осторожны в своих обобщениях. Интересно, что отсутствию готовых идей сопутствует впечатляющие масштабы добытой информации. Б. С. Каганович представляет себя дотошным читателем и исследователем. При прочтении статьи Клементьевых, складывается другое впечатление.

Подборка Ризалити и Пуббличи, наконец, удачно дополнена текстом еще одного итальянского автора — скромного краеведа и палеографа Серджио Дженини, бывшего студента и молодого коллеги Н. П. Оттокара по Флорентийскому университету. Он знал Николая Петровича с середины 1940-х годов. По словам Дженини, это «была уже тень того блестящего синьора», героя светской хроники и балетомана, каким Оттокара знали прежде. Его университетские лекции были сухим, механическим повторением заученного текста. Консультации со студентами без конца отменялись. Дженини рассказывает, что заставить Оттокара в университете было невозможно, а на страже дверей его профессорской квартиры стояла неодолимая преграда в виде Шарлотты Петровны, сестры Николая Петровича, с которой он жил после смерти жены и единственной дочери. Всех приходящих студентов она отправляла искать профессора в университете.

Очевидно, Дженини попросили написать воспоминания, и другой на его месте так бы и поступил. Но он отнесся к этой задаче как историк. Старый архивист и краевед взял на себя немалый труд собрать и проанализировать сведения об Оттокаре от бумаг университетского архива до вырезок из старых газет. Не все они подтверждают то, что Дженини знает и помнит сам. В частности, Дженини не пожелал обойти вниманием рассказ о встрече с Оттокаром итальянского медиевиста Марио Санфилиппо, где Оттокар выглядит

иначе¹⁰¹. Дело было осенью 1956 года, когда Санфилиппо был только юным аспирантом Института Кроче и давно мечтал познакомиться с Николаем Петровичем. «Это был, — пишет Санфилиппо об их встрече, — очень ветхий старичок с убеленной головой и усталыми глазами». Сначала беседа шла вяло, и молодой человек чувствовал, что его экзаменуют. Но потом старичок вдруг ожил, глаза засверкали, и его речь стала язвительной и искрометной. Перед Санфилиппо возник «другой человек», тут же прочитавший ему целую лекцию о Проппе и структуре и значении волшебной сказки. Вслед за тем, продолжает Санфилиппо, «так же блестяще и язвительно он разбил для меня вдребезги «глобальную историю» «Анналов»... Таким Оттокара сам Дженини никогда не видел, и он пускается в догадки о том, что Николай Петрович, возможно, так переменялся незадолго до смерти, когда Дженини уже с ним не общался. Право читателя — верить в это или нет. Прав ли рассказчик, просто соединяя линиями увиденные точки жизни? Может быть, ему недостает человеческого чутья, однако я хочу сказать, что он знает о работе историка нечто важное. Он знает то, что она обработка источников. Автор с увлечением повторяет слова, сказанные Оттокаром Марио Санфилиппо: «Молодой человек, имейте в виду, что в средневековой истории есть только один детерминизм, от которого никто не деться, — это детерминизм состояния источников». «Вот прекрасный урок метода!» — восклицает Дженини.

Состав участников сборника, таким образом, ясно распадается на две группы. Одни тщательно и результативно собирают и исследуют информацию (А. К. и В. А. Клементьевы и С. Дженини). Другие видят себя аналитиками, способными мыслить проблемно. Удивительно, как эти вещи не пересекаются. Не менее удивительно то, как просто русскому и итальянцу договориться. Они отлично ладят между собой.

Сама мысль о том, чтобы увидеть творчество Н. П. Оттокара в контексте русской культуры, не кажется пустой. Я вспоминаю книгу, которая ближе всего к тому идеалу работы историка, который есть у меня. Автор оканчивает ее на том неожиданном открытии, что переживание частного, неповторимости жизни, увиденное им в себе, «созвучно русской культуре»: «Вот, мол, Ваше Императорское Величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский»¹⁰².

Настоящий вопрос в том, как такой культурный опыт запечатлевается в работе историка, не пролетает мимо нее. Что вообще мы называем культурой? — Очевидно, не метафизические сущности. Культура складывается из поступков. Она способность людей совершать похожие поступки. Если некий историк вдруг уловил родство своей исследовательской практики

¹⁰¹ *Sanfilippo M.* Medioevo e città nel Regno di Sicilia e nell'Italia comunale. Messina, 1991. P. 209–210.

¹⁰² *Уваров П. Ю.* Французы XVI века: Взгляд из Латинского квартала. М., 1993. С. 245–246.

с текстами Гоголя, это ровным счетом ничего не говорит обо всех русских историках. То, что нас здесь путает, — это неверное понимание человеческого действия. В действии не заключено культурного или какого-то иного механизма. Мы совершаем действия не так, как это делает машина или механизм. Поступки всегда с чем-то связаны, но ничто для них не служит причиной. Следовательно, никакие картины культуры не могут быть объяснением творчества ученого. Можно ужаснуться тому, как советская историография далека от Гоголя и Лескова, того опыта наблюдения жизни, который был в русской культуре. Кто поставит эти книги на одну книжную полку?! Мы узнаем от Карло Гинзбурга, что, оказывается, Лев Толстой и образы «Войны и мира» прямо повлияли на его интерес к истории: «выраженная в этой книге убежденность Толстого, что историческое явление может быть понято только через реконструкцию деятельности всех людей, принимавших в нем участие»¹⁰³. Я хорошо помню свои ощущения, когда лет двадцать тому назад я услышал об этом впервые. Это было чувство нестерпимой зависти и злости на советских медиевистов. Сам Николай Петрович, если говорить о нем, между прочим, заканчивает свою книгу о французских городах с критикой их французских историков словами «одного из величайших современных нам носителей французского гения», Анатоля Франса: «Науки полезны. Они не дают задумываться»¹⁰⁴.

Застарелое предубеждение учит нас, что биография ученого служит лучшему пониманию его творчества. Это ложная мысль. Биография могла бы стать для нас таким подспорьем при одном условии: если бы действия человека походило на действия машины, предрешенные ее механизмом. Факты биографии не способны ничего объяснить, потому что не соотносятся с работами ученого как причины и следствия. Я благодарный читатель содержательных очерков А. К. и В. А. Клементьевых и С. Джензини. С их помощью мы лучше узнаем историю исторической науки и историю XX века. Но, вопреки предположению Керубини, к пониманию книг Оттокара они не прибавляют ничего. Читателю Оттокара они не нужны; это лишняя информация, которая может только отвлечь, увести в сторону. Я бы еще добавил, что жизни другого человека надо касаться с осторожностью и, во всяком случае, не делать этого без веских причин. Чужая жизнь не игрушки. И тут мало назваться историком — надо объяснить, чему знание о другом человеке может послужить. По воспоминаниям многих, Н. П. Оттокар был закрытым человеком. Даже его отношение к советской власти восстанавливается по крупинкам. Я всегда испытывал уважение и благодарность к ученым, которые не делают внешний мир свидетелем их частной жизни. Историк анализирует исторические источни-

¹⁰³ Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и история. М., 2004. С. 302 и сл.

¹⁰⁴ Оттокар Н. П. Опыты. С. 258.

ки и объясняет свою мысль в достаточной мере. Необходимой и достаточной информацией об Оттокаре для нас должно быть обстоятельное знакомство с содержанием его исследований.

* * *

История не машина — так можно определить главный урок социальных исследований Николая Оттокара. О работе в науке можно сказать то же самое. Если в ней существует механизм, то он нечто домысленное для удобства то-ропливого читателя.

«Опыты по истории французских городов в средние века» автор называл методологическим введением в средневековую урбанистику. Введения пишут под конец. В качестве отправной книги Оттокара со всех точек зрения лучше рассматривать «Флорентийскую коммуну в конце XIII века».

«Флорентийская коммуна» — книга без начала и конца: ни предисловие, ни заключение к ней не написаны. Дело не в том, что она якобы адресована специалистам, понимающим автора с полуслова. Пермское издание «Опытов» тоже начинается без предисловий. Небольшое вымученное предисловие появилось только в итальянском переводе книги о французских городах. Это неудобно для читателя, которому хочется сразу быть посвященным в курс дела, а не тащиться по ухабам неведомо куда. Но сделать ничего нельзя. Это книги не объясняющие, а показывающие. Их сила и смысл состоят в том, чтобы заменить объяснение дескрипцией, предвзятую мысль — непредвзятым исследованием. Такого не сделаешь наполовину. Потом — в другом тексте — о такой работе можно будет рассказать все по порядку. Но сначала должна быть оформившаяся работа, выращенная, как кристалл.

Мало у кого хватает духу долго оставаться в этой точке в силу диалога, который связывает ученого с другими людьми. Труд историка в такой абсолютной форме обречен быть плохой «литературой». «Объясняющие» авторы, заранее знающие, что они собираются сказать, легко устанавливают коммуникацию с читателем и находятся в выигрышном положении. Свой громкий голос и импозантность они охотно принимают за интеллектуальное превосходство и третируют настоящих ученых как неразвитых субъектов. Подобным тоном Э. Эванс-Причард говорит об «Аргонавтах» Б. Малиновского, сделавшего принципом описания одного социального института фиксацию всего увиденного. «Увы, как мыслитель Малиновский был безнадежен», — картинно вздыхает британский интеллектуал¹⁰⁵. Такие, как он, ратуют за постановку проблем и формулировку теорий, считая их единственным компасом в мире раз-

¹⁰⁵ Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. М., 2003. С. 240–244.

розенных фактов. Вопрос в том, сколько в этом будет ориентации, а сколько простой тавтологии, топтания на месте, выдаваемого за движение вперед. Мы вправе отказать этой позиции в презумпции ума и скорее вправе заподозрить его отсутствие. Нас путают ложные представления о науке. По словам Витгенштейна, «люди, которые то и дело спрашивают «почему?», похожи на туристов, стоящих перед зданием и читающих в своем путеводителе об истории его создания. Это мешает им видеть само здание»¹⁰⁶. Я не зря называю это имя. Такую дескриптивную работу, отделенную от всех объяснений, Витгенштейн определяет как содержание философии, которая ему кажется приемлемой. Его выразительный лозунг «не думай, а смотри» бесконечно понятен любому настоящему ученому. В свете его примера приравнять работу историка к отсутствию ума больше не получается.

Н. П. Оттокар идет по следам книги Г. Сальвемини. В центре внимания последовательно оказываются важнейшие события политической истории Флоренции между двумя ключевыми датами: учреждением приората в 1282 году, которое по традиции понимается как момент перехода главных рычагов власти во Флоренции в руки «народа», то есть торгово-промышленных кругов, и антимагнатским законодательством «Установлений справедливости» 1293 года, ставящим прежних хозяев города в положение отверженных. Опыт работы с историческими материалами, анализ источников не позволяет Оттокару согласиться с предложенным Сальвемини описанием названных событий в строгих терминах борьбы социально-экономических классов. Скорее они результат сложного взаимодействия граждан Флоренции, разных социальных сил. Социальные и экономические конфликты и борьба как таковые имели место. Однако нельзя сказать, что они лежали в основе политической истории Флоренции этих лет как ее внутренний механизм. Гаэтано Сальвемини примысливает к ней классовую борьбу как ее движущий механизм. Николай Оттокар показывает, что такое описание не выдерживает критики.

XIII век в истории Флоренции прошел под знаком кровавого соперничества аристократических партий гвельфов и гибеллинов. Правление гвельфов в 1267–1280 годах можно назвать идеальным примером власти одной партии. Одна из попыток остановить вражду и вернуть мир была предпринята по инициативе папы прибывшим во Флоренцию кардиналом Латино дей Франджипани. «Мир кардинала Латино» 1280 года предполагал соучастие в управлении городом гвельфов и гибеллинов почти на равных с небольшим перевесом первых. Примечательно то, что гарантами мира и нового политического устройства, по мысли кардинала, должны были стать представители цехов. Такие объединения горожан по принципу хозяйственной деятельности, стоявшие

в стороне от войны партий, казались естественной опорой общественного порядка. «Мир кардинала Латино» не создал жизнеспособной системы управления городом, но простому возвращению к прежним порядкам мешала клятва о соблюдении мира. Наиболее влиятельные цехи были традиционно связаны с гвельфами, чье возвращение к власти происходило путем усиления политической роли цехов. В ходе свертывания административной реформы кардинала Латино в 1282 году возник новый правительственный орган — коллегия приоров, куда избирались представители городских цехов. Других органов коммунального самоуправления никто не отменял, но власть в городе фактически сосредоточилась в руках приоров.

Можно сказать, что у политической власти во Флоренции появилась новая «социальная база». Мы видим фактическую замену принципа формирования властных институтов. Если раньше участие в политической власти давала принадлежность к кликам гвельфов и гибеллинов, то теперь путь к ней лежал через принадлежность к корпорациям купцов и ремесленников. Но база базой, а власть попадает в руки конкретных людей. Значительная часть книги Оттокара — это долгое просопографическое исследование. Он рассматривает списки приоров за 1282–1292 годы и приходит к выводу, что у власти остались те же самые семьи, которые управляли городом прежде. Просто теперь они избирались не от партии гвельфов, а как представители цеховых организаций, которые во Флоренции сами по себе немного напоминали политические партии или понемногу превращались в подобие партий. Преемственность власти на персональном уровне не кажется загадкой. Политическая элита Флоренции обладала необходимым опытом управления, знанием дела и обширными связями, помогавшими решать вопросы практической политики. С их весом в обществе эти люди казались другими и сами воспринимали себя естественными лидерами. Кому, как не им, было править городом. Встать вровень с ними могли немногие. Новых лиц единицы, и это люди исключительных личных качеств, которые стоили связей и богатств.

Кого и как представляли приоры, тоже вопрос. Обязанные своим положением прежде всего своим семьям, они рассматривали участие в управлении городом как часть своей семейной истории и семейного достояния. Оттокар называет ошибочным отождествление режима приората с правлением определенной социальной группы ремесленных цехов. Приорат никогда не рассматривался как представительство интересов каких-то цехов. Приоры выступали от имени всего города Флоренции. Историки воздвигли целые теории внутригородской социальной борьбы на том основании, что одни городские цехи систематически имеют своих «представителей» в органах городского управления, а другие нет. Возражения Оттокара звучат весомо. То, что цехи не были «представлены» на равных, доказывает не «борьбу» между ними и победу од-

¹⁰⁶ Витгенштейн Л. Культура и ценность, С. 221 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. 449.

них над другими, а то, что на должность приоров выбирали лиц, способных к руководству городом, а не защитников интересов отдельных корпораций.

Сальвемини воспринимает социальный мир как набор изолированных групп, построенных на групповом интересе. Для него существуют «магнаты», разделенные на гвельфов и гибеллинов, с одной стороны, и не имеющие к ним отношения профессиональные цехи — с другой. Социальные группировки мыслятся как что-то неизменное, остающееся собой в меняющихся обстоятельствах на протяжении целых исторических периодов. Каждая из этих сил потенциально стремится к завоеванию власти в городе и проведению в жизнь своей «программы». Всякое сотрудничество разных социальных групп носит только «тактический» характер — что-то вроде обмана. Если в какие-то моменты их сосуществование выглядит гармоничным и взаимодополняющим, это, по Сальвемини, совсем не значит, что они перестали быть внутренне непримиримыми противниками. Все дожидается «удобного момента», чтобы сбросить маску приверженности социальному миру и провести свою «программу».

Такие персонализации исторического процесса в форме «коллективных субъектов», по Оттокару, являются грубым насилием над нашими историческими данными. В частности, было бы ошибкой представлять себе гвельфскую коммуну, предшествующую режиму приората, изолированной от торговых и деловых кругов города. В этом утверждении нет чего-то неслыханного. Правление гвельфов и установление приората старые историки, писавшие до Сальвемини, рассматривали как один исторический период. При гвельфах коммуна не была закрытым клубом «магнатских» семейств, как изображает дело Сальвемини, а активно интегрировала в себя денежные мешки, представителей финансового и делового мира Флоренции. К выводам предшественников Сальвемини, отвергнутых и забытых ради марксистской интерпретации истории, Николай Оттокар добавляет установленный им исторический факт: между 1267 и 1293 годами (до «Установлений справедливости») в персональном составе власть имущих не произошло существенных изменений.

Различия между «магнатами» и «народом» в период правления гвельфов еще не были определены. Более того, еще не существовало понятия «магнаты», хотя Сальвемини говорит об этих годах как времени их власти. Кажется, слово употреблено впервые в 1281 году. Во всяком случае, до того оно не было в ходу. Что значило слово «магнаты»? Наверное, его можно передать словом «знать». Как на практике отграничить «магнатов» от остальных горожан, всегда было большой проблемой. В качестве критерия принадлежности к «магнатам» чаще всего называли рыцарское звание, но прибавляли, что отнесение к числу «магнатов» также может основываться на «общем мнении» жителей города.

Действительно, это понятие из сфер политической жизни и этики. «Магнаты» понимались как могущественные граждане, чье старинное участие в об-

щественных делах, семейные традиции и связи делали их потенциальными политиками, военными предводителями, советчиками в сложных вопросах. Как таковых флорентийцы ценили своих «магнатов» и отдавали им должное. Оттокар приводит примеры такой высокой оценки политической роли лиц, кого называли этим словом. Если мы думаем, что «народ» не дорожил политическим опытом своих «магнатов» и не считал совершенно искренне, что править городом они могут лучше всех, то мы ошибаемся. Вместе с тем слово «магнат» понималось также и фигурировало в другом, отрицательном смысле. Так называли лиц, которые являлись самым беспокойным и неуправляемым общественным элементом, склонным к насилию и ни во что не ставящим общественный порядок и своих сограждан. Именно в таком контексте слово и появляется для нас впервые: с 1281 года «магнатов» как потенциальных нарушителей мира в законодательном порядке обязывают вносить крупный залог. Они хороши как руководители, но терпеть их беззакония никто не собирается.

Недовольство «магнатами», подчеркивает автор, зрело не как социальный или экономический конфликт. Это был спор двух форм жизни: аристократического эгоизма и непризнания других, с одной стороны, и требования упорядоченного и правового поведения, отвечающего интересам коллектива, — с другой. В народном движении 1293–1294 годов эта линия общественного недовольства разрешилась исключением «магнатов» из политической жизни города и их поражением в других гражданских правах. В то же время Оттокар предлагает увидеть в самом этом факте стечение обстоятельств, событие истории. Потому что, кроме социальных фактов и противоречий, в истории есть события. Анонимная масса горожан ополчилась на своих правителей, измученная долгой войной, разочаровавшаяся в них и заподозрившая их в том, что те зачастую действуют не в интересах города, а в своих эгоистических интересах. Главный смысл знаменитых «Установлений справедливости», по мнению Оттокара, состоит не в борьбе социально-экономических классов, а в утверждении правовых начал общественной жизни, отметавших аристократический эгоизм.

Другой труд Н. П. Оттокара отталкивается от французской историографии средневековых городов. Автор находит ее связанной по рукам и ногам готовыми общими идеями, мешающими видеть данные исторических источников.

Одним из отрицательных примеров такого рода для Оттокара является Пиренн. Простотой своих обобщений после Первой мировой войны Пиренн как урбанист завоевал себе европейское признание. Аббат Лестокуа описывает это так: «Через сто лет после Огюстена Тьерри Анри Пиренн нашел новую главенствующую идею: влечение к городским институтам рождает торговля с ее повседневными нуждами. Движение началось с Северной Италии, и через Италию влиянием был затронут Прованс. Потом являются Фландрия и север-

ный регион, ибо знаменитая революция 1077 года в Камбре была прелюдией. Чтобы делать такие революции, нужны решительные люди. Ими станут наши купцы и только они. В XI веке предводители купеческих гильдий фактически исполняют функции муниципальных магистратов. Сначала только купцы обладают свободой, но вскоре — все горожане. Они стяжали богатства, те самые люди, кто шлялся со своим копеечным товаром по большим дорогам. Затем они завоевали свободу торговли. Так поэзия навсегда исчезает из истории городов. Все сводится к борьбе купцов, которые хотят иметь право торговать свободно... Я старался понять, чем были города средних веков, и чтение Пиренна меня покорило, околдовало в старом смысле слова: это было приворотное зелье. Еще это был волшебный ключик, который должен был открыть мне ворота городов, как книги Эмиля Маля распахнули для меня двери соборов. Но с этим ключом в руках я замешкался у ворот своего родного города. Здесь были факты: из-за них ключ не поворачивался»¹⁰⁷.

Кто только не вспомнил, говоря об этом, что Пиренн — сын вервьерского фабриканта?! Академик Е. А. Косминский, польский аристократ, отзывался о нем как о буржуазном историке с особенным удовольствием¹⁰⁸. Ученик Пиренна бельгийский историк Ф.-Л. Гансхоф, стоивший своего учителя, с убийственной прямоотой пишет о том, что Пиренн избрал для себя социальную и экономическую историю по причине их соблазнительной простоты: «Это была его уверенность в том, что экономические и социальные феномены, будучи относительно простыми, часто доступны статистической обработке, такой, которая элиминирует все субъективные факторы. Но прежде всего существенно то, что экономические и социальные феномены являются по большей части анонимными, коллективными и массовыми феноменами. Частные факторы в целом сведены к минимуму — обстоятельство, делающее эти феномены особенно пригодными для научного исследования»¹⁰⁹. Вот вещи, где нет ничего сложного, ничего индивидуального и неповторимого!

Книга Оттокара составлена из пяти отдельных очерков, посвященных городам Камбре, Нуайону, Бове, Суассону и Санлису. Автора интересует то конкретное, что можно о них узнать, и различия между ними. До него городские хартии рассматривались как достоверный источник сведений о французских городах. Одно из открытий «Опытов» заключается в том, что Оттокар смог убедительно показать, что одинаковые или почти одинаковые коммунальные

хартии давались разным городам, различающимся по степени городской автономии. Городская жизнь, утверждает автор, остается для нас по сути своей неузнанной. Она останется таковой, если мы будем по-прежнему искать формулу для всего.

Строгую разбор и критике он подвергает представление о «коммунальном движении» или «коммунальной революции». Речь идет о понимании «происхождения» городского строя средних веков. Традиционный взгляд был накрепко привязан к «коммунам» и «заговорам» горожан, в которых виделось некое неизменное стремление сбросить ярмо феодальной власти и зажечь свободу. По словам Н. П. Оттокара, это только впечатление. Исследователи, как все люди, склонны обобщать. Им проще представить и рассказать несколько эпизодов как нечто связанное и целое, в особенности если их мнение составилось заранее. На примере Камбре, где в нашем распоряжении отличные материалы, автор показывает, что «заговоры» жителей бывали связаны с чем угодно. Чаще всего поводом к коллективному выступлению служит внешняя угроза, события внешней истории городов. Те конкретные народные выступления, которые историки называют «коммунальным движением», плохо складываются во что-то одно. Говоря об общем содержании этих разных эпизодов, историки невольно изображают средневековых горожан какими-то маляками, чьи мысли неизменно повернуты в одну сторону.

Если нас волнует тема «происхождения» средневековых городов, то мы не там ищем. По свидетельству Оттокара, даже в тех городах, где были народные выступления с «заговорами» и «коммунами», они не сыграли заметной роли в становлении городских институтов. Процесс развития городского самоуправления по-настоящему лежит в другой плоскости. Он долг и сложен и скрыт от торопливых глаз.

Городской мир предшествует учреждению коммуны и может так никогда и не оформиться в коммуны. Городов, так и не ставших коммунами, как известно, было большинство. До утверждения коммунальной автономии город уже жил одной общей жизнью и осознавался как одно обособленное целое. Такому существованию, замечает Оттокар, может не хватать внешнего единства в виде единственного источника власти. Городской мир может быть сферой прав разных лиц и учреждений. Вряд ли это что-то меняет по сути, делает город несуществующим. Проблема городского мира, которую решают коммуны, не недостаток, а избыток властей. Отношение города и коммуны Николай Оттокар описывает как разнородность и объединение разнородного. Рождение коммунального самоуправления подразумевает интеграцию и новое оформление того, что прежде было властью епископа, моментами публичной или сеньориальной власти. Самоуправление горожан рождается не на пустом месте. Коммуна, к примеру, может прятаться за бесспорным правовым автори-

¹⁰⁷ *Lestocquoy J.* Les villes de Flandre et l'Italie sous le gouvernement des patriciens (XIe — XVe siècle). Paris, 1952. P. 2, 3–4.

¹⁰⁸ *Косминский Е. А.* Анри Пиренн — историк Бельгии // *Косминский Е. А.* Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963. С. 375 и сл.

¹⁰⁹ *Ganshof F. L.* Henri Pirenne and Economic History // *The Economic History Review*. Vol. VI, № 2, april 1936. P. 179–180.

тетом епископской власти, деля с ней реальную власть. Так достигается значительная степень влияния городского общества на управление. Главным путем становления городского самоуправления Оттокар называет такое ползучее «обобществление» существующих властей и институтов.

Во главу угла городской истории Оттокар теперь ставит изучение форм коллективизма и коллективного действия, что ново по сравнению с представлением о средних веках как времени иерархических структур и спущенных сверху правил. Оппоненты Николая Оттокара, в том числе авторы рецензируемой книги, давно ухватились за идею сходства его данных об устойчивости правящего слоя Флоренции, изложенных в книге «Флорентийская коммуна в конце XIII века», и теории «правлящего класса» итальянского автора Гаэтано Моска. Моска развивал мысль об извечном разделении общества на два класса правящих и подвластных. В глазах критиков Оттокара такая параллель доказывает, что Оттокар тоже мыслит готовыми формулами. Если он пренебрегал Марксом, значит, следовал другим теориям, а разговоры о чтении источников — дымовая завеса или самообман. Однако в этой связи почему-то не вспоминают о том, что в «Опытах по истории французских городов» Н. П. Оттокар находит другие данные и делает другие открытия. Они опровергают ключевой тезис Моска о неспособности масс к политической жизни. Как же трудно и как не хочется иным из нас поверить в то, что историк может обойтись без предвзятых теорий!

Любопытно, что Оттокар расценивал свою книгу как теоретическую, методологическое введение в исследование средневековых городов. Как не похоже это на методологические работы, знакомые нам! Историк показывает проблемы, встающие перед историками. Есть склонность нашего мышления к обобщениям вещей, увиденных по отдельности, но принимаемых за что-то одно. В силу этого мы часто оперируем фиктивными и грубыми представлениями о жизни и часто забываем об этом. Мы легко забываем, что «само это разложение исторической действительности на ряды «институтов» или «явлений» есть не более как бессильная, человеческая попытка оторвать и зафиксировать частные аспекты текучей исторической массы, неразрывно связанные с этой массой и только в ней понятные и живые»¹¹⁰. Обобщение опыта для нас потребность. Нам нужны гипотезы, способные учесть многие факты и открыть нечто большее, чем сумма фактов. Вопрос в том, чтобы такой схематизм определялся «всей совокупностью впечатлений от источников». Опасно навязывать материалу что-то извне. «Опасна еще предвзятость шаблона, обличающая в сущности глубокую безучастность и равнодушие к делу. Это самый распространенный вид предвзятости»¹¹¹.

¹¹⁰ *Ottokar N.* Опыты. С. 244.

¹¹¹ Там же. С. 84–85.

В 1948 году вышел сборник статей Оттокара «Исследования о коммуне и Флоренции». Он так отчетливо собран по сусекам, что явно представителен для его «итальянского периода». Эта подборка в основном составлена из различных комментариев и дополнений к двум изданным книгам. По другим источникам мы знаем, что Н. П. Оттокар хотел работать дальше и задумывал новые исследования, но, очевидно, так и не смог ничего написать.

Лишь однажды к нему вернулась острота зрения. Видимо, это фрагмент исследований Оттокара по топографии Флоренции, который неожиданно вылился в небольшую заметку о самом волнующем вопросе истории культуры. Автор заговаривает о существовании общих начал построения разных сфер человеческой деятельности, их культурном родстве¹¹². Это не родство идей, а близость способа действия, реализованного в нем принципа. Лучшей работой об этом, делающей понятной проблему, остается «Готическая архитектура и схоластика» Эрвина Панофского. Он и вводит впервые в обиход историка само понятие принципа или способа действия (счастливое заимствование из схоластической философии, где это называлось *principium importans ordinem ad actum et modus operandi*). Нельзя не вспомнить и то, как эта книга Панофского помогла Пьеру Бурдьё. Он сам перевел ее на французский язык и в послесловии к ней впервые употребил понятие *habitus*, играющее такую роль в его социологии¹¹³. Я говорю это к тому, чего Оттокар не сделал. Он остался на уровне констатации поразивших его аналогий. Занимаясь историей городского пространства, он пришел к неожиданному интересному выводу о том, что градостроительная практика и меры по обузданию «магнатов» в законодательстве Флоренции 1293–1294 годов воплощают одно стремление к внесению упорядоченности и победе над различиями. Так его старая тема оказалась узнанной с неожиданной стороны. То, что для Г. Сальвемини было классовой борьбой, оказывается зарей Ренессанса.

Вздорный лозунг «истории-проблемы» представляет историческое исследование доступным всем и всегда. Он сделал возможным существование в качестве историков легиона бесполезных людей и моря бессмысленных сочинений. Обычай ставить телегу впереди лошади не привел к открытию нового способа ездить, и в наши дни историография погрязает в теоретических спорах, хотя весь ответ на них состоит в необходимости поменять местами лошадь и телегу и ездить по-человечески. Правильно говорить: «книга поднимает вопрос», «собранный материал вынуждает сформулировать проблему». Это всегда вопрос увиденного материала, вдруг переставшего быть понятным и требующего новых аналитических инструментов.

¹¹² *Ottokar N.* Criteri d'ordine, di regolarità e d'organizzazione nell'Urbanistica ed in genere nella vita fiorentina dei secoli XIII–XIV // Studi comunali e fiorentini. P. 143–149.

¹¹³ *Bourdieu P.* Postface // *Panofsky E.* Architecture gothique et pensée scolastique. P., 1967. P. 142.

Книги ученого должны сообщать об открытиях. А если их нет? Может быть, одному человеку трудно сделать в науке больше, чем сделал Оттокар?

Честно сказать, я ломал голову над тем, почему Оттокар сам не написал книгу, написанную Плеснером по его подсказке? Или почему он не двинулся в сторону «Готической архитектуры и схоластики» Бурдые, хотя, казалось бы, уже занес ногу? Мне кажется, теперь я знаю ответ и знаю, как глупо выглядят такие вопросы. Книги идут изнутри. Их пишут, когда приходят в движение какие-то важные внутренние пружины жизни, по глубокой внутренней потребности. Существует представление, что ученый в своей исследовательской практике полемизирует с другими учеными. Я думаю, в такой картине научной работы есть большая недоговоренность. По большому счету, много ли нам дела до мнений других людей. Работа в истории — цена не из низких. Чтобы заплатить такую цену, сначала надо уверовать во что-то самому. Настоящая книга — это всегда отречение от веры, нечто направленное в глубь себя и только стилизованное под полемику с другими. Дело ученого — опровергать самого себя, отбрасывать свои старые представления. Две книги Оттокара неслучайно рисуют несхожие картины политической жизни в средневековом городе. По-моему, в этом есть нечто принципиальное и показательное. То, что Оттокар мог бы написать, но не написал, надо мыслить не по аналогии с работами Плеснера и Панофского, которые кажутся логическим продолжением его работ на наш взгляд. Сегодня я сознаюсь, что думать так значило платить дань идее «истории-проблемы». Третья книга, если бы она была написана, должна была стать в чем-то преодолением двух предыдущих. Уразумев это, пожалуй, мы скорее поймем, почему новых книг Н. П. Оттокара так и не последовало. Тут должны осуществиться не аналогии. «Продолжить» написанное можно только вступив с ним в полемику.

Отношения Оттокара и журнала «Анналы» заслуживают отдельного разговора. Первый номер «Анналов» вышел в 1929 году и включал в себя большой критический обзор исследований по средневековому городу, написанный французским урбанистом Жоржем Эспинасом. Две книги фигурируют в этой подборке рецензий как хороший и плохой пример исторической работы. Родство и связь этих описаний бросается в глаза. В них сформулирована позиция.

Как пример всего хорошего читателю «Анналов» предложена книга Пиренна «Города средневековья»¹¹⁴. Она превозносится в том числе как образец исторического метода. По словам рецензии (я почти цитирую), читатели Пиренна увидят, как из ничтожных материалов можно воздвигнуть величественные замки исторических обобщений; «они увидят также, что полное отсутствие текстов можно заменить гипотезами» (так и написано!). Потом они

¹¹⁴ *Pirenne H. Les villes du Moyen Age. Essai d'histoire économique et sociale. Bruxelles, 1927.* Русск. пер.: *Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли. Горький, 1941.*

поймут, как быть с данными, когда их слишком много. Если нас интересуют средневековые города, то нет необходимости изучать их все. Достаточно узнать принцип городской истории в средние века и раскрыть его на лучших примерах. Все остальное будет повторением. Все логично и одинаково. Читая эти строки, трудно поверить, что это написано всерьез, что это не насмешка, а слова самого искреннего и горячего восхищения.

Роль плохого историка на страницах журнала «Анналы» отведена Оттокару. Перед нами отзыв на итальянский перевод его книги «Опыты по истории французских городов». Она определена рецензентом как «мнимый синтез», в отличие от «подлинного» синтеза Пиренна, и пример того, как не стоит писать книги. Ж. Эспинас раздражен отсутствием должного уважения к предшественникам, но в то же время его претензии носят принципиальный характер и сформулированы с подкупающей прямоотой. У Оттокара нет законченной концепции. Возможно, то, что он пишет, не лишено оснований и даже весьма важно. Однако если он хочет опровергнуть теорию Пиренна, простую и ясную, как божий день, то пусть предложит другую простую и внятную теорию. А пока этого нет, мы будем держаться теории Пиренна, заключает рецензент¹¹⁵.

Как это представление о работе в истории соотносится с направлением журнала? В чем вообще состояло это направление в момент основания «Анналов»? Изначально журнал назывался «Анналы экономической и социальной истории». Люсьен Февр впоследствии стремился представить дело так, будто он и Марк Блок не вкладывали в это определение никакого особенного смысла. Слова об экономической и социальной истории якобы были только затертой формулой с неясным значением. Но в этом и заключалось ее достоинство. Тому, кто искал новых путей в науке, требовалось определить свой проект с такой предельной расплывчатостью.

Суть этих новых путей, согласно позднему утверждению Февра, состояла в раскрытии человеческой стороны истории, познании мира представлений. Февр подводит читателя к парадоксальной мысли, что название «Анналы экономической и социальной истории» неплохо подходит журналу о человеке.

Если вдуматься, «социальный» значит просто «человеческий». Ведь человек — общественное животное. Естественно, его надо рассматривать на фоне общества. Потому вместо определения «человеческий» можно, и даже правильно, сказать «социальный», и все здравомыслящие люди поймут, что мы хотим сказать. Слово «экономический» просится на язык по привычке. Оно выскакивает механически в силу традиционной связанности эпитетов «социальный» и «экономический», за которой в действительности не стоит «каких-либо разумных оснований», если только это не отпетый марксизм. И это тоже должно

¹¹⁵ *Espinas G. Histoire urbaine // Annales d'histoire économique et sociale, №1, janvier 1929.* P. 104–106, 111–113.

быть понятно без лишних слов. Далее Февр затевает игру с понятиями «часть» и «целое». Человеческая деятельность, пишет он, имеет много разных сторон, но в то же время она всегда есть нечто целое и неразделимое, потому что в неразложимой основе всего будет человек. «Но именно в этом и состоит смысл эпитета «социальный», традиционно сочетаемый с эпитетом «экономический»; он лишний раз напоминает нам, что предмет наших исследований — не какой-нибудь фрагмент действительности, не один из обособленных аспектов человеческой деятельности, а сам человек, рассматриваемый на фоне социальных групп, членом которых он является»¹¹⁶.

Трудно представить себе уши, на которых способна повиснуть такая лапша. Это объяснение давно признано слишком вольной интерпретацией того, чем были «Анналы» вначале. Оно несет отпечаток собственных интересов и надежд Февра. В каком-то смысле, быть может, это взгляд в будущее «Анналов», но не более того. Историю журнала, основанного Люсьеном Февром и Марком Блоком, давно и справедливо не считают чем-то единым. Она скорее распадается на отдельные моменты.

Мы также помним историю исторической науки. XX век начался с повального увлечения социально-экономической историей, масштабы которого в наши дни кажутся невероятными. Книги об античном рабстве, средневековом поместье или становлении капитализма читались образованной публикой и становились заметными событиями культурной жизни. В особенности так было в Германии, где социально-экономическая история развивалась быстрее и успешнее всего. Она была новым словом в исторических исследованиях и привлекала к себе самых талантливых и честолюбивых.

Начинание Февра и Блока надо понимать в этой связи. Первый номер «Анналов экономической и социальной истории» открывался кратким обращением «К нашим читателям». В этом тексте без обиняков сообщается, что журналы похожей тематики существуют, однако издатели надеются, что для их детища тоже найдется «место под солнцем». Они обещали, что главный упор будет сделан на объединении исследователей разных специализаций и полезном взаимном обмене. Объединение социальных и экономических исследований в разных областях и есть то, чего не хватает и чему «Анналы» могут и хотят поспособствовать¹¹⁷. Читатели «Анналов» привыкли к разнообразным «манифестам», но их традиция возникла позднее. Тогда на страницах журнала никаких разъяснений больше не появлялось.

То, что других идей и целей у основателей «Анналов» поначалу не было, стало очевидно после публикаций писем Блока и Февра. Я имею в виду осо-

бенно 1-й том их переписки, относящийся к интересующему нас периоду, а также издание писем Марка Блока и Люсьена Февра Анри Пиренну (к сожалению, без его ответных писем)¹¹⁸. Это немало, хотя пока далеко не все. В частности, в связи с Оттокараром, наверное, было бы интересно увидеть переписку Февра и Эспинаса, которая хранится у Пьера Тубера. (Почему у него дома, а не в архиве?) Говорят, в свое время публикации писем Блока и Февра помешал не кто иной, как Бродель, преемник Февра на посту директора «Анналов». Якобы он сказал, что для такой публикации еще не пришло время¹¹⁹. Его поступок трудно одобрить, но можно понять, потому что вся подноготная появления журнала у нас теперь перед глазами и она отличается от того героического предания, которое постарался оставить после себя Люсьен Февр и которым дорожили следующие вожди «Анналов».

Первая попытка основать журнал, который тогда должен был называться «Международным журналом по экономической истории», была предпринята Февром в 1921–1923 годах. Сам Февр не интересовался экономической историей, но живо интересовался возможностью организовать и возглавить ученых, работающих в этом направлении. До Первой мировой войны журнал по социально-экономической истории уже был. Он выходил в Германии и назывался *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* («Квартальник по социальной и хозяйственной истории»). Это был хороший журнал и к тому же такой, который можно было назвать международным. В нем активно сотрудничали французские и бельгийские авторы, которые публиковали свои работы по-французски, а в редколлегию, помимо немцев, входили Пиренн, Эспинас, Виноградов. Была вероятность, что это авторитетное издание не продолжится после войны и, следовательно, освободит нишу для нового международного журнала аналогичной тематики. В 1919 году вышел номер «Квартальника», который назывался «ликвидационным» и побуждал действовать быстро.

С предложением о создании такого нового журнала Февр обратился к Анри Пиренну, который имел необходимый авторитет и возможности. Февр прочил его в руководители нового издания и со своей стороны обещал содействие свое и Марка Блока. При этом требовалось спешить, поскольку, пишет он, «*Vierteljahrschrift* может восстать из пепла и скосить траву у нас под ногами»¹²⁰. В области социально-экономических исследований немцы лидировали. Их участие в планируемом издании означало бы, что они встанут

¹¹⁸ Bloch M., Febvre L. *Correspondance*/éd. B. Müller. T. 1 (1928–1933). Paris, 1994; Lyon B. & M. The birth of Annales history: the letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921–1935). Brussel, 1991.

¹¹⁹ Müller B. Introduction // Bloch M., Febvre L. *Correspondance*. P. VIII.

¹²⁰ Lyon B. & M. Op. cit. P. 34. (Письмо Февра Пиренну от 8 мая 1922 года.) Опасения оказались верными. С 1923 года немецкий журнал стал выходить вновь, но, к большому облегчению Февра, имена иностранных ученых из списка редколлегии были удалены.

¹¹⁶ Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 25, 27.

¹¹⁷ A nos lecteurs // *Annales d'histoire économique et sociale*, № 1, janvier 1929. P. 1–2.

у руля. Потому это должен был быть чисто «союзнический» журнал. По мысли Февра, при всех обстоятельствах он должен был быть закрыт для немцев как виновных в развязывании Мировой войны и преступлениях Германии¹²¹. Благо прецеденты такой дискриминации были. Немецкие ученые не были допущены на V Международный исторический конгресс, проходивший в Брюсселе в 1923 году. От имени принимающей стороны на этом конгрессе председательствовал Анри Пиренн. С подачи Пиренна Февр сделал доклад о проекте международного журнала по экономической и социальной истории.

Конгресс создал комиссию, которая должна была довести идею до практического осуществления. Люсьен Февр стал ее секретарем. Работу комиссии, затянувшуюся на несколько лет, очевидно, затруднял вопрос о том, кто должен быть во главе столь престижного научного проекта. Английский историк сэр Уильям Эшли вышел из нее и в 1927 году основал английский журнал по экономической истории — *The Economic History Review*. Такие специализированные издания стали появляться в других странах. Тогда Февр отказался от «умирающей идеи» международного периодического издания, которую особенно активно отстаивали голландские участники подготовительной комиссии, и вместе с Марком Блоком при поддержке Пиренна основал «Анналы экономической и социальной истории», которые отныне мыслились как сугубо французский журнал.

Пиренн лоббировал интересы Февра и Блока. Неоценимую помощь он сумел оказать на последнем этапе этой затянувшейся истории, когда надо было отделаться от голландцев. В письмах к Блоку Февр признает свою неспособность с ними договориться, так упорно те настаивали на осуществлении первоначального проекта международного журнала. «Притвориться мертвым, — пишет он, — во многих случаях лучшая тактика... И я уверен, что все обратится в дым». Обработку голландских товарищей друзья возложили на Пиренна: «Пиренн мастерски заткнет их за пояс. Наш добрый учитель — драгоценный человек в таких делах», «если надо кого облапошить, на него можно положиться»¹²². Несколько дней спустя Блок, участвовавший в работе VI Международного исторического конгресса в Осло, поделился с Февром радостной новостью: «Пиренн оказал нам отличную услугу, окончательно похоронив — с цветами и венками — пресловутый международный журнал. Голландцы цеплялись за него (и еще ряд других издательских проектов, тоже международных) в надежде им руководить». Сам Блок счел удачной находкой пущенную им формулу: «французский журнал, но интернациональный по духу»¹²³.

¹²¹ Там же. Р. 4. (Письмо Февра Пиренну от 26 апреля 1921 года.)

¹²² Bloch M., Febvre L. Op. cit. P. 41, 46–47. (Письма Февра Блоку от 15–20 мая и 11 августа 1928 года.)

¹²³ Там же. Р. 49. (Письмо Блока Февру от 22 августа 1928 года.)

На словах Люсьен Февр и Марк Блок ратуют за объединение ученых. Подлинная история «Анналов» начиналась с некрасивой подкованной интриги, где больше толкались локтями, нежели на деле желали соединять усилия. За такими лозунгами стоит в том числе по-человечески понятное стремление к доминированию, налагающее отпечаток на то, кто и с кем пребывает в единстве. Упомянутые слова о «месте под солнцем», похоже, написаны вполне искренне.

Традиция «Анналов» сумела сделать общим убеждение, что до 1929 года экономической истории во Франции якобы не существовало. Между тем мы знаем, что она не только была, но и выходил «Журнал экономической и социальной истории» (*Revue d'histoire économique et sociale*). Блок и Февр считали его плохим, делая исключение только для Анри Озе, который вошел в редколлегия «Анналов экономической и социальной истории». Из писем, которыми обменивались основатели «Анналов», а также из писем Анри Пиренну становится известно, что Озе активно проталкивал своих и искренне не понимал, почему Блок и Февр разбрасываются такими ценными авторами. Анри Сэ на страницах своего журнала они хотели иметь «в минимальных дозах», других не хотели вовсе. «Когда мы говорим, что это кретин, — пишет Февр Блоку по поводу Сэ, — люди вроде Озе прикидываются, что находят нас чересчур строгими и несправедливыми и ставят нам в вину жестокость... молодости». По словам Февра, от допущения к активному участию в «Анналах» авторов «*Revue Rivière*» (насмешливое прозвище «Журнала экономической и социальной истории») пользы было бы мало, зато потери вырисовывались реальные. Руководители «Анналов» всерьез опасались утратить контроль над изданием из-за их «чинов» (Февр вворачивает русское слово «чин»)¹²⁴. При этом «Анналы» систематически сталкивались с катастрофической нехваткой авторов. Стремление составителей журнала к объединению историков с представителями других дисциплин, а также истории и современности возникает на фоне размежевания с людьми, которые считались авторитетными историками, и в прямой связи с таким размежеванием. Года через три–четыре под это размежевание стал подводиться теоретический фундамент в виде неумной критики «позитивизма», которую в наши дни считают во многом надуманной и несправедливой.

Здесь надо разграничить две вещи. Воспринимая единство и равные отношения с коллегами как что-то заведомо хорошее, наверное, мы пребываем в плену определенного образа науки, где спутаны идеалы и реальность. В реальности всякое нормальное научное начинание предполагает разрыв с определенными взглядами и людьми. Я, конечно, имею в виду замечательную книгу Т. Күна «Структура научных революций». В этом смысле призыв к объедине-

¹²⁴ Lyon B. & M. Op. cit. P. 103. (Письмо Февра Пиренну, июнь 1928 года.) Bloch M., Febvre L. Op. cit. P. 275. (Письмо Февра Блоку, январь 1931 года.)

нию, брошенный Февром и Блоком, разумно понимать по аналогии с лозунгом пролетариев всех стран. Беда в том, что, в отличие от подлинных «научных революций», «Анналы экономической и социальной истории» тогда вовсе не стали новым словом в своей области. В той же экономической истории «школа Анналов» действительно сыграла нешуточную роль. Но когда это было? Очевидно, во времена «вторых» и «третьих Анналов», десятилетия спустя¹²⁵.

После той злополучной рецензии в первом номере имя Оттокара на страницах журнала «Анналы» больше не упоминалось. При ближайшем рассмотрении в этом мало удивительного. Никто не ждал его там с распростертыми объятьями, в особенности после его наскоков на Пиренна.

Отношения основателей «Анналов» с А. Пиренном не были только браком по расчету. Брюс и Мэри Лайон, издатели писем Февра и Блока Анри Пиренну, пишут об этом с наивной прямоотой: «Хотя ряд историков осознает огромный интеллектуальный долг Февра и Блока перед Пиренном, многие остаются в неведении относительно этого. Данные письма определенно доказывают, как многим Февр и Блок обязаны историческим концепциям и методологии Пиренна». На самом деле они составляли «триумвират»¹²⁶.

Действительно, связь Пиренна и основателей «Анналов» любопытным образом подзабылась. Интересно, что в русском издании главного «методологического» сборника Февра «Бои за историю» опущена его хвалебная статья о Пиренне, как раз наполовину посвященная книге «Города средневековья». С мнением Эспинаса о достоинствах «метода» Пиренна Люсьен Февр совершенно согласен: «Нет ничего более захватывающего, чем подобный метод; ничего более удовлетворительного для духа; ничего умнее в точном смысле слова»¹²⁷. Эта статья появилась в разгар подковерной борьбы с голландцами, когда Февр и Блок так рассчитывали на содействие Пиренна — «la diplomatie rigennique». Тем не менее в искренности слов и похвал Февра нельзя сомневаться. По-видимому, он действительно видел в Пиренне родственную душу и говорил о нем в самых горячих выражениях и не скупясь на похвалы через много лет после смерти бельгийского историка. «Города средневековья» он еще не раз назовет «подлинной жемчужиной» и «маленьким шедевром»¹²⁸.

Февра увлекает образ ученого-демиурга, творящего мир истории в своей исследовательской деятельности. Он пускается в рассуждения о том, что исторические факты — всегда нечто воссозданное, возникающее только в ис-

торическом исследовании; что история — это всегда выбор и, следовательно, игнорирование каких-то данных, и т. д.¹²⁹ За полемической направленностью выступлений Февра зачастую теряются контуры того положительного, к чему он призывает. Без конкретных примеров многие его суждения выглядят разумными. Все зависит от того, что он имеет в виду.

Многое встает для нас на свои места, когда мы с изумлением понимаем, что сочинения Пиренна Февр действительно считает образцовой работой историка. Неумеренные похвалы Февра в адрес Пиренна часто пропускают мимо ушей, так как исследования Пиренна, посвященные социально-экономической истории, лежат в стороне от интереса Февра к исторической психологии. Но эта дистанция кажущаяся. Не мною замечено, что «крайний психологизм» как раз характерен для исторических интерпретаций Пиренна¹³⁰. Констатации «психологических» причин и есть те клинья, которые держат его построения в области социальной и экономической истории. Что же касается «исторического метода», то у Пиренна и Февра он похож до слез. Это «метод» вчитывания в исторический материал некоего всеобъемлющего объяснения — априорной идеи, наделяемой принудительной силой «механизма».

В качестве примера я хотел бы указать на книгу Люсьена Февра о Рабле, которая писалась как раз в это время. Эта работа начиналась как критика мнения об атеизме автора «Гаргантюа и Пантагрюэля», но Февр выстраивает на примере Рабле целую теорию «коллективной психологии» и стремится обосновать мысль о принципиальной невозможности атеистических взглядов для «людей XVI века». Для него общество устроено как машина «коллективной психологии», вынуждающая думать и действовать так, а не иначе. Сама вера в существование такой общей «психологии» позволяла Февру считать пример Рабле достаточным. Карло Гинзбург в своей известной книге «Сыр и черви», повествующей о мельнике Меноккьо, ставит эту уверенность под сомнение. Он называет в корне ошибочной постановку вопроса, оставляющую за рамками исследования множество живых людей. Я напоминаю об этом еще и потому, что свою мысль и желание рассказать историю мельника Меноккьо Гинзбург возводит к чтению Льва Толстого¹³¹.

Сегодня охотно подчеркивают различие между Л. Февром и М. Блоком. Действительно, весьма характерно Февр, например, отреагировал на выход 1-го тома «Феодалного общества», обобщающей работы Марка Блока. Она оказалась не тем, что он ожидал увидеть, и Февр не смог скрыть своего разо-

¹²⁵ См. подробнее: *Шоню П.* Экономическая история: эволюция и перспективы // THESIS, 1993, вып. 1. С. 137–151.

¹²⁶ *Lyon B. & M. Op. cit.* P. VI.

¹²⁷ *Febvre L.* Henri Pirenne à travers deux de ses œuvres // *Febvre L.* Combats pour l'histoire. Paris, 1992. P. 357–369 (цит. по с. 358).

¹²⁸ *Февр Л.* Бои за историю. С. 8, 63.

¹²⁹ См. особенно его вступительную лекцию в Коллеж де Франс «Суд совести истории и историка» (Там же. С. 10–23).

¹³⁰ *Косминский Е. А.* Ук. соч. С. 379.

¹³¹ *Гинзбург К.* Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке. М., 2000. С. 46–47, 55–56; Он же. Микроистория. С. 302.

чарования. Он с удивлением обнаружил в тексте Блока много противоречий, колебаний, неопределенности и рассудил об этом по-своему: «Перед нами доказательство, неоспоримое доказательство того, какие трудности испытываем все мы и какие трудности испытывают лучшие из нас, когда приходит пора избавиться от привычек, приобретенных смолоду, и нужно ставить проблемы и формулировать их «так, чтобы они могли быть разрешены», как говорил математик Абель»¹³². Мы до конца поймем этот упрек Февра, если будем иметь в виду, что образцом историка для него был Пиренн. Вот кто был мастер перелгать прошлое на язык формул!

Вопрос в том, что мы станем сравнивать: Февра и Блока между собой или их отношение к другим исследовательским практикам? Имя Николая Оттокара упадет с губ Марка Блока, когда он пишет рецензию на упомянутую книгу Плеснера¹³³. Я думаю, об этой книге обязательно надо сказать. Это «bottega», «мастерская» Оттокара.

Книга переворачивала существовавшие представления об отношениях города и деревни в средние века. До нее казалось бесспорным и очевидным, что население средневековых городов пополнялось извне за счет беглых крестьян. Эта картина отвечала романтическому пониманию средневекового города как альтернативы феодализму и предвестия буржуазных свобод. Симвиоз города и его сельской округи понимался как результат закономерной победы прогрессивных исторических сил: горожане брали верх над сеньорами, снося их замки и скупая земли вокруг городов. Плеснер постарался дать объяснение тому факту, что на протяжении XIII века собственность жителей Флоренции в сельской местности заметно возрастает, и пришел к выводу, что это происходит в результате массового переселения в город зажиточных собственников. Земли остаются в одних руках, но их владельцы превращаются в городских жителей. «Деревня завоевывает город, а не наоборот», — гласит ехлесткий тезис.

Эта тема потребовала нового взгляда на социальную историю. Старая картина, оспоренная Плеснером, не висела в воздухе, а опиралась на определенные прочтения исторических документов. Датский исследователь восстает против обычая наивного принятия социальных определений как четких и однозначных обозначений социальных позиций и отношений. «В реальности социальные категории всегда были расплывчаты. В нормальное время и не было нужды определять их точно, а каждый человек жил по обычаю, который установился для него и его предков. Лишь в суде и ряде других особых случаях заходила речь о том, чтобы подыскивать юридические термины,

которые казались наиболее подходящими. Тогда играли роль те выгоды, которые можно было из них извлечь и которые человек преследовал, выступая под обозначениями, эксплуатировавшими тему его независимости или, возможно, его зависимости. Действительно, укрыться под обозначениями, которые акцентировали зависимость, желали так же часто»¹³⁴.

Один живой пример скажет об этой научной проблеме лучше всех объяснений. Плеснер ссылается на любопытный случай. В 1198 году жителям деревни Фильине в верхнем течении Арно пришлось признать над собой власть Флоренции и согласиться на уплату налога. Согласно достигнутой договоренности, от налога должны были быть освобождены рыцари и *masnaderii*. Предполагалось, что *masnaderii* в Фильине составляют небольшую часть населения, а большинство было *pedites*. *Pedites* буквально значит «пешие», то есть не «конные» рыцари. Словом *masnaderii* часто называли вооруженных холопов. Любая служба другому человеку даже с оружием в руках воспринималась умалением свободы, узами зависимости. Будучи несвободными, *masnaderii* не отвечали за себя в полной мере и в данном случае не подлежали обложению. При этом они могли быть весьма и весьма зажиточными людьми. Делегация Фильине, отправившаяся во Флоренцию, состояла из шести рыцарей и шести *pedites*, один из которых был местным подеста. Когда пришла пора заплатить подать, то выяснилось, что сделать это некому. В Фильине нашлось 13 рыцарей, 148 *masnaderii* и только пять *pedites*. Эти пятеро были те самые люди, кто вместе с подеста подписал от имени коммуны договор с Флоренцией. Они уже назвались *pedites* и взять своих слов назад не могли. Все остальные жители деревни, не претендовавшие на то, чтобы называться «рыцарями», поголовно записались в *masnaderii*¹³⁵.

Социальные обозначения не что-то пустое, но они подвижны и привязаны к ситуациям, которые необходимо знать. Мы останемся в плену слов, наброшенных покровов, пока не увидим живых людей, живые человеческие судьбы и ситуации. По истории средневековой Тосканы у нас столько документов, сколько никому не прочитать за всю жизнь. Но не все они имеют для историка одинаковую ценность. Собрания исторических документов — не склад деталей к какому-то механизму. На самом деле это только наши сети, помогающие уловить историческую реальность. Нас должны заинтересовать и внушить надежду исторические материалы, которые образуют плотную ткань. Такую беспрецедентную плотность сообщений источников автор находит для деревни Пасиньяно в 30 км к югу от Флоренции. Его дополнительный материал — данные о сельском приходе Джоголе в 7 км от города. Работа Плеснера находится

¹³² Февр Л. Бои за историю. С. 151.

¹³³ См. прим. 3. Рецензия Блока опубликована в журнале *Moyn Age*, 1936, № 3. P. 194–198.

¹³⁴ Plesner J. L'émigration de la campagne. P. 65.

¹³⁵ Plesner J. L'émigration de la campagne. P. 65–66.

в русле идей и исследовательских методик Оттокара. В частности, он делает ставку на просопографический подход. Заменой социальных определений, которые не могут быть твердой почвой под ногами, должна быть подробная история семей и их положения внутри локального общества.

Во времена Плеснера только формировалось то понимание средиземноморской деревни в средние века, которое сегодня кажется естественным. Книга датского историка вносит в решение этого вопроса немалый вклад. Источники сообщают, что основным типом сельского поселения в Средней Италии были «замки». Веря в тотальное господство «феодализма», историки долгое время представляли их по аналогии с сеньориальными замками Франции и Германии. Сам «феодализм» и угнетение сельского люда доказывались повсеместным распространением «замков». Плеснер справедливо описывает их в качестве укрепленных сел. Социальный облик их жителей тоже не может быть убедительно представлен конвенциональными эпитетами «зависимые крестьяне» и «держатели». Начать с того, что он разный. Основное население Пасиньяно составляли собственники земель. Часть их называлась рыцарями, хотя это означало только то, что те содержат боевого коня и несут конную службу. Права сеньоров над землями и людьми были формой подчинения политической власти. Иногда ссылаться на эту зависимость было выгодно, иногда нет. Ссылаясь, когда было выгодно. Автор книги доказывает, что эмиграция в город вымывала из деревни сначала рыцарей, затем других зажиточных собственников. Горькие бедняки о переезде во Флоренцию даже не помышляли.

То, что дает работе силу, одновременно является ее уязвимым местом. Книга построена на углублении в два единичных случая. Надо искать другие материалы. Но сама книга властно указывает, какой может быть ее конструктивная критика. Потому рецензия Блока на работу Плеснера обескураживает. Как ни в чем не бывало Марк Блок сетует автору на... допущенные неточности в использовании социальных определений, трактуя дело как промах, неумение сказать точно, видимо, по недостатку юридического образования: «Очень живо переживая человеческие реалии, господин Плеснер, возможно, не так искушен в юридических тонкостях. Всякий раз, когда он касается классификации положения лиц или поземельных прав, его словарь обнаруживает подчас тягостный недостаток строгости». Проблема адекватности социальных обозначений отмечается Блоком как несуществующая. Не вдаваясь в детали, Блок просто сообщает, что люди, описанные Плеснером как землевладельцы, ему представляются обычными держателями, сидящими на чужой земле. Потому ничего нового автор не говорит. Книга якобы проливает свет на одни вопросы и оставляет нераскрытыми другие: «Господин Плеснер не нарисовал всей картины». Все тезисы, от которых рецензент не желает отказаться, он называет нераскрытыми вопросами.

Существует также рецензия Блока на книгу Николая Оттокара о французских городах. Она вышла в журнале «*Моее Age*»¹³⁶ практически одновременно с рецензией Эспинаса, опубликованной в «*Анналах*». Эти тексты во многом близки или совпадают. Согласно Блоку, выводы, сделанные на отрывочном материале и не доведенные до размеров ясных формул, могут быть интересны разве что будущим исследователям пяти рассмотренных городов. Для всех остальных историков они недостаточны и ничему научить не могут. Потому Оттокар не должен обрушиваться с критикой на французских ученых. Примерно это мы слышали от Эспинаса, но в претензиях Блока одновременно есть свой колорит. Рецензент квалифицирует исследовательскую плоскость Оттокара как историю городских учреждений. Такое определение для него подразумевает, что, кроме того, существует отдельно социальная история городов, не изученная автором. Оттокар, по словам Марка Блока, не изучил «социальную структуру» и из-за этого толком не разобрался даже в «конституционной истории». Можно сказать, что история напоминает основателю «*Анналов*» игру в шахматы. С такой точки зрения, Оттокар занят разбором шахматных партий, не удосужившись рассказать о том, какие шахматные фигуры существуют. То, что история может походить на что-то другое, не обсуждается. Я бы еще добавил, что в двух рецензиях Блока трудно не узнать его будущей работы «*Феодальное общество*» — книги о шахматных фигурах.

То, что работы М. Блока и Л. Февра и журнал «*Анналы*» так полюбились в Советском Союзе, конечно, не случайность. Книги Н. П. Оттокара выглядят хорошим тестом для других. Не знаю, что еще может принести в историографию столько ясности. Неясности бывают от объяснений. Попытки решать вопросы силой ума — главный порок современных работ по историографии. Когда люди пускаются в объяснения, тут и возникает путаница. Пример работы хорошего историка все расставляет на свои места. Еще раз хочу повторить замечание Коллингвуда: идеализм в истории ведет к скептицизму и недобросовестности исторического сознания.

¹³⁶ 1929, № 1. P. 104–107.

ЭРВИН ПАНОФСКИЙ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

*Панофский Э. Этюды по иконологии: гуманистические
темы в искусстве Возрождения. СПб., 2009.*

*Он же. Перспектива как «символическая форма».
Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004.*

Мы знаем Эрвина Панофского (1892–1968) как основателя нового направления в искусствознании — иконологии. «Введение» к «Этюдам по иконологии» (1939) стало главным «теоретическим» текстом нового иконологического подхода. Этот основополагающий текст уже публиковался по-русски в другой книге Эрвина Панофского «Смысл и толкование изобразительного искусства» (1957)¹³⁷. Но сегодня мы получили возможность прочесть его в том контексте, в котором он был задуман и написан.

Автор противопоставляет свой исследовательский проект методу своих научных предшественников — классических «формалистов», прежде всего Генриха Вёльфлина (1864–1945). В стремлении сделать историю искусства подлинной наукой о формах художественного творчества «формалисты» настаивали на необходимости самоограничения исследователя. Речь шла о том, чтобы вынести за скобки материал жизни и культуры и научиться рассматривать произведения искусства как таковые. Такой редукционизм помогает увидеть много нового и существенного, но оборачивается слепотой в других вещах.

Эрвин Панофский оспаривает саму возможность «формального анализа» в понимании Вёльфлина, поскольку он остается в плену таких понятий, как «человек», «лошадь», «колонна», не говоря уже о таких определениях, как «безобразный треугольник между ног «Давида» Микеланджело»¹³⁸. Нравится это или нет, историк искусства не может ограничить себя исследованием «форм» и не касаться сферы «содержания» или «смысла». Вряд ли с этим можно поспорить.

Важно подчеркнуть, что за иконографическим проектом изначально стоит практическая потребность. Иконология возникла из необходимости систематического изучения ренессансного символизма. Практическая потребность отождествлять сюжеты и символы заставляла уделить внимание идейному содержанию искусства. Речь идет не только об отыскании прямых источников вдохновения и идей, двигавших тем или иным художником

¹³⁷ Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999. С. 43–73.

¹³⁸ Он же. Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб., 2009. С. 31–32.

в момент создания того или иного произведения. Такая форма объяснения «содержательной стороны» искусства кажется автору недостаточной. Мир художественного творчества Эрвин Пановский мыслит себе в терминах культуры. «Мы подходим к произведению искусства, — пишет он, — как проявлению чего-то еще, что выражает себя в бесчисленном разнообразии других проявлений, и интерпретируем его композиционные и иконографические черты как более конкретное свидетельство «чего-то еще». Открытие и интерпретация этих «символических» ценностей (которые зачастую неизвестны самому художнику и даже могут разительно отличаться от того, что он хотел выразить сознательно) и составляет объект «иконологии» в противоположность «иконографии»¹³⁹.

Иконологическая интерпретация сегодня — практикуемая практика и, конечно, объект критики. Так, Э. Гомбрих (1909–2001) приводит целую серию интересных доводов в пользу того, что «смысл» есть понятие вообще весьма скользкое и все иконологические реконструкции — пусть бесполезное, но крайне рискованное занятие¹⁴⁰. Все это, безусловно, очень интересно, но надо сказать, что Эрвин Панофский подходит к делу с достаточной осторожностью. История культуры в данном случае для него только «корректирующее» средство для интуитивных догадок толкователя: «Если даже наш практический опыт и знание литературных источников могут ввести нас в заблуждение, будучи примененными безоглядно, насколько опаснее было бы довериться просто и исключительно интуиции!» Сравнение того, что исследователь считает внутренним содержанием изучаемого произведения искусства или изучаемых художественных практик, с тем, что он считает внутренним содержанием других явлений, относящихся к рассматриваемому лицу, периоду, стране, — это хотя бы какая-то почва под ногами. «Наша интерпретация будет зависеть от наших субъективных средств и именно поэтому нуждается в корректировке посредством исследования исторических процессов, которые в сумме можно назвать традицией»¹⁴¹. Работа автора нацелена непосредственно не на отыскание культурных и исторических фактов. В книге Эрвина Панофского они только подспорье.

Две другие книги Панофского, которые, наверное, являются самыми известными его работами, — настоящие исследования культуры. «Перспектива как «символическая форма»» вышла в 1927 году, «Готическая архитекту-

¹³⁹ Я цитирую это место по варианту статьи, приведенному в книге: *Панофский Э.* Смысл и толкование изобразительного искусства. С. 48.

¹⁴⁰ *Гомбрих Э.* Символические образы: Очерки по искусству Возрождения (в печати). Предисловие к этой книге: Он же. О задачах и границах иконологии // Советское искусствознание, 1989. Вып. 25.

¹⁴¹ *Панофский Э.* Этюды по иконологии. С. 41–42.

ра и схоластика» — в 1951-ом. Они так различаются между собой, что опубликовать их вместе было отличной идеей¹⁴².

Я напомним, о чем в них идет речь. «Нам сегодня может показаться несколько странным, — пишет Панофский, — что такой гений, как Леонардо, называл перспективу «кормилом и путеводной нитью живописи», а такой изобретательный художник, как Паоло Учелло, на призыв своей супруги идти наконец спать обыкновенно отвечал: «О, сколь же сладостна эта перспектива!»». («Oh, che dolce cosa è questa prospettiva!» — со слов Вазари.)¹⁴³ Экспериментальное исследование изобразительных возможностей живописи для многих художников итальянского Возрождения временами было важнее решения чисто художественных задач. Система перспективного изображения призвана имитировать человеческое зрение. Метод перспективы, как известно, помогает передать кажущиеся изменения величины в зависимости от расстояния. Точно то, что он найден во Флоренции времени Кватроченто. В середине Кватроченто, кажется, Брунеллески первым сформулировал изобразительный метод линейной перспективы. Два поколения спустя он был теоретически описан Пьеро делла Франческа. Во всяком случае «Троица» Мазаччо во флорентийской церкви Санта Мария Новелла (около 1425–1428 годов) написана в строгой линейной перспективе. Тогда же Альберти дал ей определение, ставшее классическим: «плоское сечение зрительной пирамиды».

Недоумения начинаются, когда мы выясняем, что линейная перспектива вовсе не является тем, чем претендует быть, а именно: она не составляет точного повторения зрительной способности, ибо игнорирует (1) стереоскопичность зрения и (2) сферичность глазного дна, рождающую характерные искажения «бокового зрения». Эти факты, описанные в оптике, позволяют автору говорить о линейной перспективе как культурной условности. Линейную перспективу, утвердившуюся в живописи со времен Ренессанса, Панофский характеризует в качестве «символической формы», заключающей в себе определенное понимание пространства. За стереотипами пространственных описаний ему угадываются исторически конкретные формы мироощущения сменяющихся исторических эпох.

Упраздняя поверхность картины, заставляя смотреть «через» нее, делая картину окном, распахнутым в пространство «за» холстом, живопись после Кватроченто творит художественную и интеллектуальную иллюзию абстрактного и однородного пространства, вмещающего вещи. Для искусства и философии античности подобный continuum пространственной протяженнос-

¹⁴² *Панофский Э.* Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004.

¹⁴³ Там же. С. 86–87, 189.

ти несколько не очевиден. Запечатленный в них зрительный опыт нацелен на «тела» и «промежутки между телами». Представляя поле зрения шарообразным, оптика античности лучше ренессансной перспективы отвечает физиологии глаза, в этом смысле более «реалистична». Средние века ознаменовались сведением пространства к плоскости изображения. Но то же было утверждением его однородности, пусть в виде не развернутого в глубину однородного фона. С Джотто и Дуччо начинается революция в восприятии изобразительной плоскости: это больше не стена или доска, на которой размещены отдельные фигуры, а снова прозрачная поверхность, сквозь которую зритель смотрит в пространство «по ту сторону» картины. Захватывающая живопись мания кессонных потолков и плиточного пола подчеркивает навязчивую важность художественной задачи. К перспективному единству сначала приводятся только отдельные фрагменты изображения. Строгостям математического сходжения ортогоналей долго недостает метода, позволяющего измерять отрезки глубины проекции. Энтузиазм и искания одних живописцев наталкиваются на стену непонимания и безразличия большинства. После Пьетро и Амброджо Лоренцетти живопись итальянского Треченто катится в обратную сторону. В Нидерландах перспектива владела воображением братьев ван Эйк. Рогира ван дер Вейдена она интересовала мало. Трудность утверждения приоритета пространства над объектами Панофский объясняет тем, что художники шли впереди интеллектуалов, предвосхищая математику и натурфилософию XVI и XVII веков. Сформулированный художниками Кватроченто образ пространства стал выражением «мировоззрения», хотя справедливо сказать и так: живописцы творят «мировоззрение».

Проводя аналогию между архитектурой готических соборов и схоластикой, во второй работе Панофский затрагивает кардинальный вопрос художественного творчества. Интересующая его близость готической архитектуры и схоластической философии возникает в плоскости, для описания которой автор прибегает к терминам самой схоластической традиции, как-то: *principium importans ordinem ad actum*, «начало, вменяющее порядок действию», *modus operandi*, «способ действия». Автор отвлекается от содержания схоластической учености и ограничивает свой интерес заключенным в ней *modus operandi*.

Характерной особенностью духа схоластики он называет идею *manifestatio*, самоизображения мышления. Схематизм и формализм, не случайно ставшие затем другим значением слова «схоластика», достигают своей величины и размаха в жанре схоластических «сумм», которые делают полноту и упорядоченность изложения видимыми посредством систематического разделения и подразделения, классификации по принципу единообразия, искусственной симметрии частей и частей этих частей. По сравнению

с романским стилем, своеобразие архитектурного языка готики Панофский описывает как дробление архитектурной структуры и торжество гомологии. Все части, находящиеся на одном «логическом уровне», осмыслились теперь как элементы одного класса. Все архитектурные элементы мыслятся четко отделенными один от другого, но при этом составляют гармоническую целостность. Ее поиск происходит не в пропорциях целого, как это было в предшествующей архитектуре, а во внешней согласованности и взаимной выводимости соседствующих архитектурных элементов. Упоение «манифестацией» превращает функциональное в «говорящее»: колонны, аркбутаны, нервюры «научились говорить и работать»: «возвещать о том, что они делают, языком более обстоятельным, ясным и красочным, чем это было необходимо по соображениям одной лишь целесообразности»¹⁴⁴. «Безусловное прояснение функции посредством формы» предстает «самоанализом и самообъяснением архитектуры»¹⁴⁵. Как схоластические тексты дают почувствовать сам процесс размышления, так готика показывает зодчество.

Таков первый аргумент, отстаиваемый автором. Второй касается истории архитектуры. Эволюция готики, по его мнению, повторяет принцип схоластического силлогизма. Силлогизм — это умозаключение, в котором из двух противопоставленных суждений следует третье. Силлогизм действует как путь согласования авторитетов. По правилам схоластики нельзя высказаться в пользу одного и просто забыть про другое. Авторитетных суждений так просто не отменяют. Прослеженная Панофским история отдельных архитектурных элементов готики зримо напоминает такой схоластический диспут.

Книга Панофского кажется ответом на знаменитый вопрос Вёльфлина. Вёльфлин спрашивает: «Что определяет работу воображения художника в области формы? — Говорят, то, что составляет содержание времени. Для веков готики называют феодализм, схоластику, спиритуализм и т.д. Но где именно пролегает путь, ведущий из кельи схоласта в мастерскую архитектора?», и отвечает: «Здесь нельзя получить никакого представления об отношениях, существующих между фантазией художника и этими историческими условиями»¹⁴⁶. Эрвин Панофский тоже не думает, что можно говорить о прямой трансляции идей, хотя для него это не означает, что нет предмета для обсуждения. Автор замечает, что строители готических соборов не читали книг схоластов. Если они могли уловить их дух, повторить логику, то это совершалось как-то иначе. Культура здесь предстает не совокупностью подуманных и высказанных мыслей, становящихся общим

¹⁴⁴ Панофский Э. Этюды по иконологии. С. 270.

¹⁴⁵ Панофский Э. Этюды по иконологии. С. 272.

¹⁴⁶ Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб, 2004. С. 139–140.

достоинством, а сходством человеческих поступков, их семейным родством. Возможно (и очевидно), такое понимание культуры будет более верным.

Интересно, что французским переводчиком «Готической архитектуры и схоластики» выступил не кто иной, как Пьер Бурдьё (1930–2002). Бурдьё отказывается понимать практику в терминах сугубо логических решений. Он стремится связать большую часть человеческого поведения с практическим умением. Речь идет об особой способности к жизни и действию, усвоенной из прошлого опыта и связанной с культурной средой. В этом смысле поступки не являются также до конца «индивидуальными». Бурдьё, таким образом, находит путь преодоления ложной разъединенности «индивидуального» и «коллективного», «теории» и «практики», «объективного» и «субъективного». Для этой цели он, в частности, оперирует понятием *habitus*, подразумевая под этим личную способность индивида, которая вырастает из опыта социального мира и служит жизни как *modus operandi*. Очевидно, нечто похожее на *habitus* Бурдьё историки имеют в виду, когда говорят об общих «ментальностях», которые проявляются в разных человеческих поступках. Послесловие к книге Панофского, между прочим, и стало первым текстом французского социального теоретика, где он использует схоластический термин *habitus* в таком специальном смысле: «Противопоставлять индивидуальное коллективному, чтобы отстаивать право на творческую индивидуальность и тайну единичного творения, значит лишить себя возможности открыть коллективное в самом сердце индивидуального в форме культуры... или в форме *habitus*, посредством которого, говоря языком Эрвина Панофского, творец участвует в жизни своей общности и своей эпохи и который ориентирует и направляет без ведома самого творца его, казалось бы, самые уникальные творения»¹⁴⁷.

Но Бурдьё также обращает наше внимание на то, что отличает «Готическую архитектуру и схоластику» от «Перспективы как «символической формы»» и описывает это отличие как внутреннее противоречие в позиции автора. Одна книга — блестящее описание культурных практик, локализирующее культуру в человеческих поступках. Другая — тяготеет к осмыслению культурного процесса как некоей внешней исторической силы. Автор «Перспективы как «символической формы», по словам Бурдьё, не желает «порвать с идеалистической традицией»¹⁴⁸.

Крайне интересна талантливая критика Гомбриха¹⁴⁹. Его позицию отличает предельное недоверие к поиску связей между произведением искусства

и внешними обстоятельствами, в которых оно возникло. Подчеркивая роль традиции, Гомбрих повторяет слова Вёльфлина о том, что полотна художников больше обязаны другим полотнам, чем прямому наблюдению жизни. Он предлагает понимать изобразительное искусство как коммуникативную систему, немного похожую на язык. Художник связан совершающейся коммуникацией. Он может копировать реальность, только соотносясь с другими картинами: иначе он рискует остаться «непонятым». Именно эти психологические причины лежат в основе устойчивости стилей в искусстве. Но как тогда совершаются художественные революции? Где выход из заколдованного круга традиции? По мнению Гомбриха, импульс приходит извне в форме новых «общественных потребностей». В такие моменты жизнь врывается в искусство, делая его другим. Здесь можно только всплеснуть руками. Отказ от признания роли культурного и исторического контекста во имя идеи изобразительного искусства как интерпретации по схеме кончается самым мрачным детерминизмом слепых внешних сил, идеализмом в квадрате.

Взяв в руки «Этюды по иконологии», мы легко оспорим картину, нарисованную Гомбрихом. В самом деле, каким различием «общественных потребностей» и «функций искусства» можно всерьез объяснить разность художественных традиций Флоренции и Венеции? «Если в основе флорентийского искусства, — пишет Панофский, — лежит рисунок, пластическая твердость и конструктивное решение, то в основе венецианского — цвет и атмосфера, живописная сочность и музыкальная гармония. Флорентийский идеал красоты нашел свое полное выражение в статуях гордо возвышающихся Давидов, венецианский — в живописи, изображающей возлежащих Венер»¹⁵⁰. Художественные традиции при этом нельзя возводить в абсолют, потому что кроме них существуют художники: «Интересно сравнить трансформацию произведений Микеланджело в руках его последователей и подражателей с трансформацией прототипов в руках самого Микеланджело. Оказывается, подражатели последовательно устраняют именно те черты, которые мы рассматриваем как специфически микеланджеловские, и подтверждают тем самым, что стиль Микеланджело не относится ни к Высокому Возрождению, ни к маньеризму, не говоря уже о барокко»¹⁵¹.

¹⁴⁷ Bourdieu P. Postface // Panofsky E. Architecture gothique et pensée scolastique. P., 1967. P. 142.

¹⁴⁸ Bourdieu P. Le sens pratique. P., 1980. P. 160.

¹⁴⁹ Gombrich E. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London, 1962.

¹⁵⁰ Панофский Э. Этюды по иконологии. С. 245.

¹⁵¹ Там же. С. 294.

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО

*Nardella C. Il fascino di Roma nel Medioevo.
Le «Meraviglie di Roma» di maestro Gregorio. Roma, 2007
(nuova ed. riveduta ed aggiornata; 1ª ed. 1997).*

НАЧИНАЕТСЯ ПРОЛОГ НАСТАВНИКА ГРИГОРИЯ О ЧУДЕСАХ, КОТОРЫЕ В РИМЕ НЕКОГДА БЫЛИ ИЛИ ВСЕ ЕЩЕ ЕСТЬ И ЧЬИ СЛЕДЫ ИЛИ ПАМЯТЬ ОСТАЛИСЬ ДОНЬНЕ.

Настояниями товарищей моих, прежде всего наставника Мартина, господина Фомы и многих других самых дорогих мне людей я принужден верить письму, что узнал в Риме такого, что особенно достойно изумления. Впрочем, немало опасаясь своим сбивчивым рассказом подменить ваши святые ученые занятия и роскошь божественного слова и краснеть при мысли оскорбить косноязычием уши, привыкшие к речам величайших умов: кто же это вздумает звать за скудный стол деревенщины сотрапезниками тех, кто приучен к роскоши?! То-то и оно, что я берусь за обещанную работу мешкая и против воли, ибо, когда мне надо писать, как подумаю о безыскусности моей неуклюжей речи, часто от своего намерения отвращаюсь. Однако желание товарищей в конце концов взяло во мне верх над моей робостью. Чтоб не оказаться обманщиком, грубой и неумелой рукой взявшись за перо, обещанный труд я, как только смог, таким образом исполнил.

КОНЧАЕТСЯ ПРОЛОГ.

НАЧИНАЕТСЯ РАССКАЗ О ЧУДЕСАХ ГОРОДА РИМА, ВОЗДВИГНУТЫХ МАГИЧЕСКИМ ИСКУССТВОМ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ТРУДОМ.

1. Особенно потрясает, я думаю, панорама города, где такое множество башен и столько дворцов, что никому из людей не доведется перечесть. Когда я впервые со склона горы увидел его издали, мой ошеломленный ум захватили слова Цезаря. После победы над галлами, перейдя через Альпы, он говорил, дивясь на стены великого Рима:

***«Этот приют божества неужели покинут бойцами
Без понуждений врага? За какой еще город сражаться?
Слава богам»***

и так далее.

И потом:

*...сей город, вместительный даже
Для человечества...
Брошен трусливой толпой.*

И, взывая к Риму, Цезарь именует его подобием высшего бога¹⁵². Долго дивясь его непостижимой красоте, я благодарил про себя Господа, чье величие оставило отпечаток по всей земле, но в Риме Бог сделал труды рук людских невиданно и бесценно прекрасными. Да, хотя бы весь Рим и разрушился, ничего целого все равно не сможет с ним сравняться. Один человек так и сказал:

*Нет тебе равного, Рим; хотя ты почти и разрушен —
Но о величье былом ты и в разрухе гласишь¹⁵³.*

Так начинается текст, найденный в одной английской рукописи около века назад. Присутствие в нем ошибок, характерных для переписчика, доказывает, что перед нами не автограф. Так или иначе, сочинение дошло до нас в единственном списке и ни в каком другом средневековом тексте не упоминается. Практически все, это мы точно знаем о его авторе, содержится в этих первых фразах. К сожалению, такой информации немного.

Имя «наставника Григория» нельзя с уверенностью отнести ни к одному известному нам историческому лицу. Иметь такое имя — все равно, что не иметь никакого. Стихотворение Хильдеберта Лаварденского, которое он цитирует, датируется началом XII века. Рукопись «Рассказа о чудесах города Рима» — концом XIII века. Две эти даты оставляют для жизни Григория без малого два века. Суммируя косвенные данные, в частности вероятное знакомство «наставника Григория» с рядом английских авторов второй половины XII — начала XIII века, Кристина Нарделла делает осторожное предположение о том, что текст мог быть составлен в начале XIII столетия. Возможно, Григорий был англичанином, возможно — клириком. С первых строк видна классическая образованность автора. Он не только знает на память латинских поэтов. Ложную скромность в форме сомнений в своих силах и представления себя действующим по чужой указке после книги Курциуса мы понимаем как литературный топос, общее место в средневековой латинской литературе¹⁵⁴. «Наставник Гри-

горий» умело демонстрирует владение правилами средневековой риторики, отличающее людей образованных от подлинных невежд.

Путешествия в Рим были распространенным явлением в средние века. По мнению исследователей, в высокое средневековье Рим на время перестал быть главной целью христианских паломников, помышлявших об искуплении грехов. Он играл такую роль в раннее средневековье. Стараниями римских пап он снова сумеет привлечь толпы паломников после 1300 года. Но в середине средневековья Рим как паломнический центр испытывает серьезную конкуренцию со стороны Сантьяго-де-Компостела и Иерусалима. В то же время успех папства делает Рим важным административным центром христианского мира. В отличие от других мест паломничества, значительную часть приезжих составляют образованные люди, бывающие в Риме по делам. Проигрывая в числе, Рим, так сказать, выигрывает в качестве. Появление и широкое распространение описаний города в период, когда паломников как таковых стало меньше, не кажется мучительной загадкой.

Знакомство с Римом отвечало разным культурным потребностям. Образ города, покрытого кровью мучеников, красного от крови, вел в Рим паломников по святым местам. «Иди в Рим, где площади красны от крови мучеников», — в середине XIV века слышала голос визионерка Бригита Шведская. Рим представлялся памятником героической истории начала христианства. Но его культурная роль в средние века была шире. Христианский Запад мыслил себя историческим продолжением языческой империи. В начале VIII века английский монах Беда Достопочтенный записывает странное пророчество: «Пока стоит Колизей, будет стоять и Рим. Когда падет Колизей, падет Рим и окончится мир». Место Рима и его древностей в воображении средневекового Запада современные исследователи описывают выражением «римский миф»¹⁵⁵. Древний Рим олицетворял эффективную политическую организацию, действенную власть, показывал недостижимые примеры литературы и зодчества.

Идея «возрождения» Древнего Рима в той или иной форме поднималась на щит разными силами, преследующими свои интересы. Римские епископы с ее помощью боролись за власть в Италии и отстаивали свое право вмешиваться в дела других церквей. Германские императоры из династии Штауфенов вынашивали планы создания всемирной монархии. Жители Рима и других городов мечтали о новой республике как форме самоуправления. Всюду Древний Рим был примером для подражания.

Историки давно пытались найти следы борьбы этих идеологических мотивов в средневековых «путеводителях» для паломников в Рим. По наблюдению Кристины Нарделлы, если мы посмотрим внимательнее, такой ясной

¹⁵² Лукан, Фарсалия, III, 90 sq.; I, 511 sq.; I, 199. Пер. Л. Е. Остроумова, ред. Ф. А. Петровского.

¹⁵³ Хильдеберт Лаварденский. Первая элегия о Риме, 1–2. Пер. Ф. А. Петровского.

¹⁵⁴ Curtius E. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. München, 1973. S. 93–95 (раздел «Affektierte Bescheidenheit»).

¹⁵⁵ Giardina A., Vauchez A. Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini. Roma, Bari, 2008.

идеологической ангажированности ни у Григория, ни в большинстве других описаний Рима мы не увидим. Эти описания, к примеру, не служат утверждению папской власти или утверждению коммунальных свобод, а существуют сами по себе. Надо оценить значение этого открытия. «Идея Рима» у составителей и читателей данных текстов сидит в таких печенках, что ее любое идеологическое использование предстает чем-то вторичным и отделенным. Это пренебрежение интересами политической борьбы лучше всего показывает изначально реальность «римского мифа».

Средневековые «путеводители по Риму», описания города, носившие характерное название «Чудеса Рима», предстают странным переплетением языческой и христианской тем. В них запросто соединяются картины языческих статуй и храмов и христианских церквей. Ренессанс продолжает эту линию. На рубеже Нового времени такое отношение прошлого и настоящего стало неразрешимой проблемой, приведшей к религиозной Реформации и расколу Европы. В средние века это соединение несоединимого казалось возможным и неизбежным.

Поразительная особенность «Рассказа о чудесах города Рима» загадочно-го «наставника Григория» состоит в том, что автор вообще упускает христианскую тему. Его интересует только классический Рим.

Папе Григорию Великому римская молва приписывала целенаправленное истребление древних статуй. По преданию, им двигало желание избавить город от бесчисленных языческих идолов. Автор «Рассказа...» пишет об этом с осуждением, так как считает изваяния, увиденные им в Риме, выдающимися произведениями искусства. Он сообщает об одной полюбившейся ему статуе Венеры. Она стеснялась своей наготы, как живая. Хотя статуя находилась на другом конце города, ноги сами трижды приносили его к ней. Как ни в чем не бывало Григорий готов заподозрить в этом действие колдовских чар. И он про себя считает богиню языческим идолом, способным примагнивать людей, но слишком ценит искусство. Скорее всего речь идет о Венере Капитолийской. В XVII веке ее нашли замурованной в пристройке к одной римской церкви. В средние века она стояла посреди города, обворожительно прикрывая ручкой стыд.

Григорий подробно описывает экспонаты музея под открытым небом, устроенного на площади перед резиденцией римских пап на Латеране. Здесь были выставлены античные бронзовые статуи, которые до сих пор воспринимаются как символы Рима, в том числе Капитолийская волчица с оторванными лапами (так велико было желание снять ее со своего места и перенести сюда); конная статуя Марка Аврелия, которую в средние века считали (или стремились представить) изображением императора Константина; подлинное изображение императора Константина, которое, наоборот, принима-

ли за статую бога Солнца; бронзовая доска с какими-то римскими законами, которую не могли прочесть даже болонские юристы¹⁵⁶. Находящаяся рядом Латеранская базилика, главный храм Рима и «мать всех церквей», упомянута Григорием как ориентир. Рассказчик вспоминает церкви только как топографические ориентиры, помогающие отыскать ту или иную римскую достопримечательность.

Необычные стороны сочинения «наставника Григория», его увлечение Древним Римом, не оставляющее места ни для чего другого, по традиции понимают как знак его особой близости к эпохе Возрождения. Наверное, можно провести такую аналогию и извлечь из нее какую-то пользу. Но она не объясняет тех особенностей текста Григория, о которых мы говорим, а именно: не объясняет скандального игнорирования в описании Рима христианских святынь и христианской точки зрения.

Замечательная работа Кристины Нарделлы помогает увидеть вопрос в новом свете. Автор сопоставляет «Рассказ...» Григория с другим памятником, «Чудесами города Рима», составленным около 1140–1143 гг. каноником собора св. Петра Бенедиктом. Сочинение Бенедикта стало образцовым описанием Рима. Оно распространилось во множестве списков и положило начало длинному ряду новых редакций и переводов на народные языки. По словам Кристины Нарделлы, Бенедикт берет на себя обязательство дать «объективную» картину Рима, в которой, очевидно, нельзя пропустить ни христианских, ни языческих храмов. «Рассказ...» Григория, напомним, сохранившийся в единственном экземпляре, напротив, привязан к личности рассказчика. Цели систематического и «полного» описания Рима он не преследует. Изложение, которое можно назвать более «субъективным», подчинено собственному интересу автора и грешит спонтанностью. То, что рассказчик забывает написать к месту, он дописывает потом. «Чудеса...» Бенедикта и «Рассказ...» Григория соотносятся как «путеводитель» и «дневник». Наверное, это можно подтвердить, продемонстрировав различия в использовании личных местоимений и личных форм глаголов.

До сих пор исследователи высказывали мнение, что текст Григория отличается особый «критический настрой». Кристина Нарделла повторяет эту мысль. На мой взгляд, объяснение особенностей «Рассказа...» Григория как записи личного опыта, которое она дает, является более точным и достаточным.

Скорее всего Григорий знал «Чудеса...» Бенедикта, но он хочет поделиться с читателем своими впечатлениями и сведениями, добытыми им самим. Зато автор так увлечен другим сочинением «О семи чудесах света», что пересказывает его, мягко говоря, не всегда к месту. Из этого видно, что пись-

¹⁵⁶ Главные экспонаты этой коллекции в XVI веке были перенесены на Капитолий и выставлены сегодня на Капитолийской площади и в капитолийских музеях.

менная традиция сохраняет в его глазах безусловный авторитет. Григорий прямо пишет, что не согласен или не доверяет некоторым мнениям. Но речь идет исключительно об устных преданиях горожан и паломников, которым он противопоставляет мнение «начальства, кардиналов и самых знающих людей», отвечавших на его расспросы. Такое осторожное отношение к людской молве было для средневековых авторов обычным делом¹⁵⁷.

Григорий хочет увидеть Рим своими глазами и рассказать о том, что увидел и испытал сам. Чтобы оценить высоту колонн в термах Диоклетиана, он пробует добросить камнем до капителей. В другой раз он мерит шагами Пантеон. Заинтересовавшись серными водами одной из римских купален, он платит деньги за вход, но залезть в воду так и не решается. Его хватает только на то, чтобы помочить руки. Любопытно то, что сообщения о личных «опытах» оказываются весьма неточными. Проще говоря, Григорий охотно привирает. Подсчитанный им диаметр Пантеона в два раза больше того, что есть. Термы Диоклетиана, конечно, величественное сооружение, но трудно поверить Григорию в том, что он не смог обойти их за целый день. Он явно увлечен размерами всего увиденного и хочет поразить ими «наставника Мартына и господина Фому», которые, возможно, не побывают в Риме никогда. Другими словами, превосходство свидетельств личного опыта над знаниями, вынесенными из книг, не является чем-то само собой разумеющимся.

Как далеко «наставник Григорий» смог продвинуться в изучении римских древностей? Он, безусловно, оставил важные описания. Можно восторгаться самостоятельностью его писательского взгляда. Вместе с тем надо напомнить, что узнавание римских древностей шло впоследствии не путем личного осмотра достопримечательностей и расспросов местных жителей. По-видимому, такие осмотры и расспросы не могли принести больших плодов. «Нигде не знают Рим меньше, чем в самом Риме», — сетовал Петрарка. После Петрарки и начала гуманизма беспаятство римлян стало притчей во языцех¹⁵⁸.

Отношение к памятникам Древнего Рима в средние века было соединением огромного интереса с огромным невежеством. Римские древности были достоянием легенд, в основном повествующих о волшебном всемогуществе и несметных сокровищах древних римлян. Римские руины рисовались воплощением силы и власти. Колизей фигурировал почти на всех средневековых изображениях Рима. Другое дело, что в средние века Колизей считали языческим храмом Солнца. То, что это не храм, выяснилось только в трудах авторов

¹⁵⁷ Guenée B. Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval. P., 1980.

¹⁵⁸ Gams E., Gams J. Mito e realtà di Roma nella cultura europea. Viaggio e idea, immagine e immaginazione // Storia d'Italia. Annali. T. 5/a cura di C. De Seta. Torino, 1982. P. 561–662. О легендах средневекового Рима см.: Graf A. Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medio Evo. T. 1–2. Torino, 1882–1883.

середины XV века Поджо Браччолини и Флавио Бьондо. Как ни странно, христианские древности Рима были известны еще меньше. О существовании римских катакомб, с которых начиналась история христианства в Риме, в средние века почти не помнили. Они были заново открыты только в Новое время, когда один из римских виноградников провалился под землю.

С эпохи Возрождения главным каналом сведений об истории, топографии и памятниках Древнего Рима являлись тексты и особенно древние надписи. Рим был испещрен надписями. Он весь подписан. «Наставник Григорий» интересуется надписями, помогающими ему отождествлять римские памятники. В одних случаях разобраться в них у него получается. В других случаях надписи остаются непонятными из-за непонятных сокращений. В средние века такие проблемы были обычными; случалось даже, не понимали римского капитального письма (которое мы называем «печатными буквами»), потому что сами писали готическим маюскулом. Первые шаги наука о надписях эпиграфика сделала позднее, когда стали составлять коллекции надписей. То же можно сказать о нумизматике и археологии. Специальные знания в этих областях стали появляться с появлением коллекций. Они давали возможность накапливать материал и систематизировать его, учили с ним работать. Главным препятствием на пути узнавания Рима в средние века было отсутствие чего-то подобного. Живо интересуясь остатками материальной культуры прошлого, восторгаясь памятниками древности, средневековые авторы зачастую были перед ними беспомощны из-за неразвитости того, что мы называем вспомогательными историческими дисциплинами. Не владея в должной мере эпиграфикой и не имея других специальных знаний, во многих случаях они затруднялись назвать увиденное¹⁵⁹.

«Наставник Григорий» находит свой способ докопаться до истины. Интерес Григория сосредоточен вокруг римских статуй и барельефов. Он узнает город прежде всего по его статуям.

Это удивительно для нас, но в средние века, по-видимому, было неудивительно. Как в теории, так и на практике статуи и барельефы могли быть ключами к воспоминаниям. Теоретическим примером может служить «Риторика к Гереннию», латинский трактат I века до н. э., который в средние века ошибочно приписывали Цицерону. «Риторика к Гереннию» содержит наиболее развернутый курс по развитию навыков памяти, сохранявшийся с древности. В качестве мнемонического приема этот текст рекомендует представить себе некую архитектурную структуру, улицу или портик. Информация, которую надо запомнить, мысленно размещается в архитектурных элементах, где скульптурные изображения исполняют роль подсказок.

¹⁵⁹ GuenéeB. Op. cit.

Средневековая легенда о добром императоре Траяне — пример того, как скульптурные изображения играли такую роль на практике. Христианская традиция, казалось бы, сохранила ясные воспоминания о том, что император Траян был одним из гонителей христиан во времена язычества. Об этом ясно сказано в сочинении Августина «О граде божьем» и других известных текстах. В основе неожиданной симпатии к язычнику и врагу христианства лежало превратное толкование одного изображения на Колонне Траяна. Она украшена барельефами, повествующими о завоевании Дакии. В сцене, о которой идет речь, покоренная провинция преклоняла колени перед победителем. В средние века эта сцена толковалась в том смысле, что добрый император Траян был готов выслушать последнюю вдову. Цепляясь за эпизод, воображение дорисовывало остальное. По легенде, папа Римский Григорий Великий, проходя через Форум Траяна, случайно увидел это изображение и так растрогался, что стал молиться за доброго императора. Благодаря его святому заступничеству, Траян был освобожден из ада и достиг райского блаженства.

Данте встречает Траяна в Раю, а сам барельеф с памятной сценой так завладевает его воображением, что он находит для него место на уступе между первым и вторым кругом Чистилища и подробно его описывает:

*Я, озираясь, убедился ясно,
Что весь белевший надо мной обрыв*

*Был мрамор, изваянный так прекрасно,
Что подражать не только Поликлет,
Но и природа стала бы напрасно.*

<...>

*Там возвещалась истинная слава
Того владыки римлян, чьи дела
Григорий обессмертил величаво.*

*Вдовица, ухватясь за удила,
Молила императора Траяна
И слезы, сокрушенная, лила.*

*От всадников тесна была поляна,
И в золоте колеблемых знамен
Орлы парили, кесарю охрана.*

*Окружена людьми со всех сторон,
Несчастливая звала с тоской во взоре:
«Мой сын убит, он должен быть отмщен!»*

*И кесарь ей: «Повремени, я вскоре
Вернусь». — «А вдруг, — вдовица говорит,
Как всякий тот, кого торопит горе, —*

*Ты не вернешься?» Он же ей: «Отмстит
Преемник мой». А та: «Не оправданье —
Когда другой добро за нас творит».
И он: «Утешься! Чтя мое призванье,
Я не уйду, не сотворив суда.
Так требуют мой долг и состраданье».*

*Кто нового не видел никогда¹⁶⁰,
Тот создал чудо этой речи зримой,
Немыслимой для смертного труда¹⁶¹.*

«Чудо речи зримой» — так и есть! В скульптурном убранстве римских монументов «наставник Григорий» вычитывает такие же истории. У него статуи двигаются и говорят, как живые. Они рассказывают людям свои истории.

Григорий находит в Риме «Колонну Фабриция». Гай Фабриций Лусцин — римский консул, прославивший себя в тяжелой для римлян войне с Пирром. По словам «наставника Григория», украшающие колонну барельефы, в частности, повествуют о том, как врач Пирра по имени Филипп предлагал Фабрицию за деньги уморить своего царя. Фабриций выдал Филиппа его повелителю, чем вызвал восхищение последнего. «Это, бесспорно, поступок Фабриция, которого не легче отворотить от добродетели, чем заставить солнце свернуть со своего пути», — передает Григорий слова изваяния. Одну из триумфальных арок он отождествляет как «Арку Сципиона», потому что в ее скульптурах узнает подробный рассказ о войне с Ганнибалом. Кристина Нарделла дает этим сообщениям интересный комментарий. «Колонна Фабриция», о которой толкует Григорий, по-видимому, является Колонной Марка Аврелия, а «Арка Сципиона» — Аркой императора Константина. Последнее любопытно вдвойне, так как для оформления Арки Константина были использованы старые римские скульптуры, изображающие войну Траяна с даками. Сцена, которую «на-

¹⁶⁰ «Кто нового не видел никогда» — то есть Господь Бог, которому известно все и для кого не может быть ничего нового.

¹⁶¹ Чистилище, X, 31–33, 73–96. Перевод М. Лозинского.

ставник Григорий» принимает за изображение гибели Ганнибала, изначально представляла умирающего дака. Заказчики и строители Арки Константина лучше средневековых авторов понимали, что скульптурным изображениям можно дать разные истолкования. Если нужна определенность, для этого существуют надписи. На Арке Константина имеется соответствующая надпись. «Наставник Григорий» ее не прочитал.

Мне бы не хотелось назвать это просто легкомыслием (хотя бы потому, что в таком легкомыслии замечен Данте). Знаем ли достаточно о том, как воспринималось искусство, художественная продукция в средние века? Римские статуи увлекают Григория сами по себе как произведения высокого искусства. Он увлечен тем, как оно может передавать жизнь. Все «как настоящее»: «надувательство мягких волос из твердой бронзы» на голове статуи Константина, Венера, «больше похожая на живое создание, чем на статую», бронзовый бык, сделанный «столь искусно, что можно подумать, такой должен мычать и бодаться». Но дело не только в художниках и их искусстве. На лице обнаженной богини через белоснежный мрамор Григорий замечает густую краску стыда. Белизна паросского мрамора прекрасных грудей умирающей Клеопатры кажется ему мертвенной бледностью. То, как он смотрит и что при этом видит, — возможно, самое интересное в «Рассказе о чудесах города Рима».

* * *

Giardina A., Vauchez A. Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini. Roma, Bari, 2008 (1^a ed. 2000).

Образы римского прошлого играют заметную роль в истории Европы. Эта тема давно и плодотворно исследуется. Авторы книги, известные историки Андре Воше и Андреа Джардина, имеют счастливую возможность опереться на большую и ценную литературу. Они ставят перед собой цель дать целостную картину исторической судьбы римского наследия. «Предмет этой книги, — пишут авторы во введении, — память о Риме после его гибели в качестве государства и центра одной из самых блестящих цивилизаций средиземноморского мира. Итак, Рим после Рима, то есть совокупность ментальных представлений, эстетических моделей и идеологических отсылок, переданных через столетия и позволивших памяти о городе не только сохраниться, но и вплоть до наших дней составлять живое предание, воздействующее на умы и сердца».

Тема Рима в истории легко получает противоположные интерпретации. Императоры Рима Август, Траян, Константин символизируют великую всемирную империю, Брут и Гракхи — идеальный образ республики и борьбы против тирании. Рим можно славить как святое место христиан,

обильно политое кровью их мучеников начиная с апостолов Петра и Павла, или заклеить как проклятую землю, откуда вместе с древними статуями без конца извлекается древнее язычество, и т. д. Авторы книги высказывают мысль, что внутри таких разных представлений, которые выглядят взаимоисключающими, можно поискать «твердое ядро». Воше и Джардина оперируют понятиями «римская идея» и «римский миф». То, о чем идет речь, конечно, отличается от подлинных мифов, которыми занимаются фольклористы и этнографы. Слово «миф» применительно к Риму призвано выразить устойчивость определенных исторических представлений. К таким базовым представлениям, по мысли авторов, следует отнести определенное понимание величия, единое административное пространство, построенное на основе права, технические умения и культуру, дающую образцы прекрасного, а также трактовку моральных вопросов как пути понимания причин общественного подъема или упадка.

Это интересная гипотеза, которая требует эмпирической проверки. Я бы еще уточнил вопрос. Вопрос не в том, существуют или нет факты, которые отвечают данной гипотезе. Она возникает из каких-то эмпирических оснований, а следовательно, заведомо отвечает каким-то историческим фактам. Вопрос в том, сколько материала можно уловить этой сетью, много или мало?

Я не могу пересказать и прокомментировать всю книгу, но хотел бы остановиться на некоторых исторических моментах, когда тема наследия Древнего Рима играла заметную роль.

Во второй половине VIII века христианский Запад столкнулся с необходимостью заново определить свое отношение к римскому наследию. Один из ключевых вопросов раннего средневековья — появление романских языков. Еще в VI и даже VII веках Европа в границах бывшей Римской империи была латиноязычной. Рождение новых романских языков современные исследователи описывают как относительно быструю мутацию, очевидно, совершившуюся между 650 и 750 годами¹⁶².

Во Франкском государстве Каролингов в это время была предпринята попытка вернуться к латинскому языку древности, известная под именем «карлингского возрождения». «Возрождение» наследия древности было формой разрыва с настоящим. Перемены в культуре в эпоху Каролингов были нарушением преемственности с предшествующей эпохой Меровингов. С конца древности в христианской литературе складывалась и развивалась форма «смирненной речи». Она означала сознательный отход от традиций античной литературы, являвшейся достоянием культурного меньшинства, и выбор в пользу широкой

¹⁶² Banniard M. Viva voce: communication orale et communication écrite en Occident latin (IVe — IXe siècles). Paris, 1992.

аудитории¹⁶³. На протяжении меровингского времени литературная деятельность была компромиссом между авторами текстов и их аудиторией, теряющей способность понимать хорошую латынь. Этот путь заводил все дальше, пока не привел в тупик. «Каролингское возрождение» стало отказом от изжившего себя компромисса во имя сохранения латинского языка, в частности, как языка Библии. Слово «возрождение» не должно вводить нас в заблуждение. В основе «каролингского возрождения» лежит не притягательность «римского мифа», а необходимость сохранения христианства, чьи священные тексты и традиции требовали знания латыни. «Возрождение» заключалось в признании границы между устной и письменной культурой, миром образованных и невежд. Со времен Карла Великого постановления церковных соборов велют обращаться к пастве на народных языках. Мертвая латынь на долгие века становится языком культуры и образования, недоступным для большинства населения.

Задача возрождения латинской школы потребовала объединенных усилий образованных людей всей Европы. В разное время ко двору Каролингов прибывали готы Теодульф и Агобард, лангобарды Петр Пизанский и Павел Диакон, франки Ангильберт и Эйнгард. Особую роль сыграли ирландцы и англосаксы. Англосакс Алкуин стал во главе придворной школы в Ахене. Знаатоками латинского языка в этот период недаром выступают ирландцы и англосаксы, а позднее — монахи немецких монастырей. В их странах хорошая латынь сохранялась, потому что была мертвым языком.

В Риме таких не нашлось. Это можно считать парадоксом, но среди деятелей «каролингского возрождения» мы не знаем ни одного римлянина. Сегодня историки охотнее подчеркивают преемственность в истории Европы между древностью и средними веками, которую раньше явно недооценивали. Но если говорить о городе Риме, то здесь исторический разрыв трудно преувеличить.

В конце Римской империи город Рим слыл слишком беспокойным местом для нормального осуществления императорской власти. Не желая ставить себя в зависимость от своеволия горожан, императоры бывали в Риме наездами, хотя город сохранял свое значение символической столицы. Оставшийся в Риме сенат исполнял представительские функции. Приезд Констанция II в 663 году был последним посещением Рима византийским императором. Вместо того, чтобы украсить город, Констанций организовал вывоз римских статуй. Рим оставался церковным центром. Фактическое управление городом перешло в руки римских пап. Столкнувшись с угрозой захвата Рима лангобардами и лишённая поддержки со стороны Византии, папская власть нашла ее в лице франков. С их помощью с середины VIII века папы сумели создать свое государство с центром в Риме.

¹⁶³ Auerbach E. *Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter*. Bern, 1958, разделы «*Sermo humilis*» и «Латинская проза раннего средневековья».

На Рождество 800 года в соборе святого Петра в Риме папа Лев III короновал как императора правителя франков Карла Великого. «Лоршские анналы» в оправдание этого акта ссылаются на то, что в империи, под которой подразумевалась Византия, в это время правила женщина — императрица Ирина. Биограф Карла Великого Эйнгард, однако, утверждает, что Карл не хотел и не собирался становиться императором и коронация — инициатива папы. Одни историки расценивают это утверждение биографа как литературный топос, рисующий образ идеального правителя: он не стремится к власти, а принимает ее по обязанности. Другие думают, что так могло быть в действительности. Идея «восстановленной» Римской империи имела долгую судьбу и сыграла огромную роль в политической истории Европы. Между тем возможно, что ничего подобного Карл не задумывал и мотивом этого символического акта было желание папы Льва III заручиться могущественным союзником перед лицом римских магнатов. Слова «Восстановление Римской империи» с тех пор красовались на печатях Карла Великого, но символическим центром государства и главной резиденцией императора стал Ахен, расположенный в сердце старинных франкских земель. При всем почтении к римскому прошлому франкский правитель не чувствовал себя римлянином и не собирался подражать Августу и Траяну.

Что представляла собой политическая жизнь во Франкском государстве?¹⁶⁴ В конце VII века королевство распалось на отдельные территории. Реальной политической силой в них выступают местные правящие элиты, группирующиеся вокруг местных лидеров. Правление меровингских королей придавало их положению ореол законности. Каролингская историография навязывает «черную легенду» о последних королях из рода Меровингов. Следуя этой традиции, в XVI веке Ронсар назовет их «ленивыми королями». Говоря о «безвластии» последних Меровингов, мы тем не менее должны подразумевать не некий политический кризис и развал государства, а вполне традиционную и устойчивую форму государственного управления, которую Каролинги смогли изменить.

Войны Каролингов, втягивавшие в свою орбиту военную силу франков и организующие ее, сыграли роль главного инструмента политической централизации. По сравнению с относительно мирным VII веком, при Каролингах войны стали обыденным явлением. Политическое лидерство Каролингов, изменившее Франкское государство, может быть описано в терминах военной мобилизации. Оно возникает как эффект совместного действия. Можно сказать, что такая политика не затрагивала «социальный строй», но меняла поведение правящего класса: путь социального успеха стал пролегать через служ-

¹⁶⁴ См.: Fowacre P. *Frankish Gaul to 814* // *New Cambridge Medieval History*. V. II/ed. R. McKitterick. Cambridge, 1995. P. 85–109.

бу новым властителям и участие в их войнах. Военная мобилизация сделала франков главной военной силой в Западной Европе и сделала возможными масштабные завоевания Каролингов.

Такая природа франкского могущества одновременно предполагала его неустойчивость. В течение VIII века под властью Каролингов оказались огромные территории, но форма управления, унаследованная от меровингского королевства, очевидно, переменилась мало. Не построение новой Римской империи по примеру римских цезарей, а идея христианского общества была или казалась ответом на проблемы, встававшие перед Каролингами. Сын Карла Великого император Людовик окружил себя людьми церкви. Историческая традиция дала ему прозвище «Благочестивый». То, что правитель государства оказался таким религиозным человеком, требуется понять как определенную политическую линию. До тех пор война являлась главным организующим принципом Франкского государства. Но времена громких побед прошли. Поражая войну и насилие, Людовик Благочестивый стремился направить франков на путь мира и христианских идеалов. Государство франков давно превратилось в многонациональную империю. Христианство стало объединяющим фактором и идеологией государства, лишённого корней. Каролинги мечтают походить на царей древнего Израиля и интерпретируют свою власть как необходимость организовать и возглавить христиан на пути к спасению.

Имя Карла Великого в связи с «римским мифом» упоминается в заглавии рецензируемой работы, но на ее страницах такая связь показана с осторожностью. Может быть, это мы заинтересованы в том, чтобы мыслить державу Каролингов по аналогии с империей римских цезарей? Если мы так охотно представляем себе и даем определения другим государствам по аналогии с Римской империей, наверное, это потому, что приверженность «римскому мифу» сидит в нас самих. Тогда об этом так и надо сказать.

В какой мере идея новой Римской империи воплотилась в политике и представлениях средневековых германских императоров? После недолгой агонии держава Каролингов исчезла во второй половине IX века, но оставила пример, которому захотели последовать другие властители. Со второй половины X до начала XIV веков почти все правители Германии считали своим долгом прибыть в Рим, чтобы получить императорскую корону из рук римских пап. Исторические события прошлого легко сливаются для нас в одну картину, в которой нам хочется угадать один общий смысл. На самом деле здесь интересны детали. То, о чем идет речь, — только ритуал, череда человеческих поступков. Люди поступают определенным образом. Именно потому, что это ритуал, некое положенное действие, открывающее путь к престижному титулу, римские коронации германских императоров меньше всего говорят о «римском мифе» как таковом.

Исторический материал убеждает в правоте такого предположения. Образ Древнего Рима изначально занимает немного места в политических представлениях германских правителей. Епископ и писатель Лиутпранд Кремонский, в 968 году отправленный послом к византийскому императору Никифору, рассказывает следующую историю. Византийский император, не скрывавший своего презрения к самозванным «римлянам», якобы бросил ему в лицо: «Вы не римляне, а лангобарды». Лиутпранд на это ответил: «Как известно из истории, братоубийца Ромул, от которого получили свое имя римляне, был ублюдком, рожденным в распутстве. Он устроил убежище, куда принимал должников, беглых рабов, убийц и прочих мерзавцев, которые за свои преступления заслуживали смерти... Мы, лангобарды, саксы, франки, лотарингцы, бавары, швабы и бургунды, настолько презираем римлян, что, когда бываем в гневе, не помним другого ругательства, кроме слова «римлянин». Одним этим словом мы называем всякую низость, подлость, разврат и ложь, короче говоря — все пороки».

Оттон III, сын византийской принцессы, был единственным германским императором, попытавшимся около 1000 года обосноваться в Риме. Но его просто прогнали из города, привыкшего жить самостоятельно. Воше и Джардина признают, что «римский миф» начинает играть заметную роль только в политике императоров Фридриха Барбароссы и Фридриха II, то есть во второй половине XII и первой половине XIII веков. Впрочем, и это утверждение требует оговорки. Известно изображение Фридриха Барбароссы в диадеме римских императоров. Современники говорят о его желании вдохнуть жизнь в «империю города Рима». Тем не менее, когда римляне от имени своего города попытались предложить ему императорскую корону в обход папы Римского, Фридриха Барбароссы счел это неуместным. Его ответ римлянам состоял в том, что власть над Римом и императорская корона принадлежал ему по праву наследника франкских и германских императоров, а также по праву сильного. Разыграть карту Древнего Рима решает император Фридрих II. После разрыва с папой он напрямую обратился к римлянам с призывом вернуться к древним политическим традициям Римского государства. В отличие от Барбароссы, Фридрих II признал город Рим источником императорской власти. Но в это время такой идеологический финт уже не имел для германских императоров большого политического смысла, как не имел будущего. Укрепление папства делало Римскую империю германских императоров эфемерной и в конце концов вынудило их отказаться от активной итальянской политики¹⁶⁵.

Папство также утверждало свою власть, не чураясь римского наследия. Яркий пример таких исторических манипуляций — знаменитый музей под открытым небом на площади перед резиденцией римских пап на Латеране. Здесь

¹⁶⁵ Houben H. La componente romana nell'istituzione imperiale da Ottone I a Federico II // Roma antica nel Medioevo. Milano, 2001. P. 27–47.

были выставлены статуи, которые до сих пор воспринимаются нами как символы Рима, в том числе Капитолийская волчица и конная статуя Марка Аврелия, которую в средние века считали изображением императора Константина.

Юридический подлог — характерное явление правовой культуры каролингского времени, когда были составлены многие фальшивки, в том числе знаменитый «Константинов дар». В нем утверждается, что в IV веке римский император Константин якобы передал власть над Западной Римской империей папе Сильвестру I. «Константинов дар» был сфабрикован в Риме между 752 и 771 годами, но получил широкую огласку благодаря его включению в «Лжеисидоровы декреталии», другую фальшивку — сборник подложных и подлинных документов церковного права (постановлений церковных соборов и папских посланий — декреталий), составитель которого именует себя Исидором Меркатором. «Лжеисидоровы декреталии» возникли во Франции между 847 и 852 годами в кругах, враждебных архиепископу Гинкмару Реймскому, и были использованы для борьбы с ним епископом Гинкмаром Ланским. Изначально «Лжеисидоровы декреталии» были призваны оградить интересы епископата от вмешательства со стороны архиепископа. С этой целью в них превозносится папская власть как высшая церковная инстанция.

Начиная с понтификата Николая I (858–867) папство использует «Лжеисидоровы декреталии», включая «Константинов дар», для обоснования своей главенствующей роли. Легенда о «Константиновом даре» в середине XIII века нашла монументальное воплощение во фресках римского монастыря Quattro Coronati, дошедших до нас в прекрасной сохранности. Два папы середины XII века были похоронены в порфиновых саркофагах римских императоров. Но таких саркофагов нашлось в Риме только два. Вместе с тем папы не заявляли претензий на императорскую власть, о чем, по идее, шла речь в легенде. Они хотели быть вождями христианского общества, независимыми от германских императоров, и хозяевами Италии. Им было выгодно лишний раз подчеркнуть свое преемство с римскими императорами. Но «восстановление Римской империи» не входило в их планы, поскольку они считали, что их власть лучше и соотносится с царской властью, как золото и свинец.

Вопрос о римском наследии в средние века историки стремятся описать как столкновение нескольких идеологических линий, обслуживающих разные политические интересы: империи, папства и поднимающихся городов. Такая постановка вопроса выглядит по-своему разумной. Разговор о коллективной памяти мы представляем себе как разговор о социальной истории. Это подразумевает рассмотрение образов Рима в качестве выраженных потребностей и практикуемых практик определенных социальных сил. Но существуют ли эти силы на деле или они только придуманы нами? Проект социальной истории на протяжении многих десятилетий был ведущим в историографии. Од-

нако сегодня к нему возникает много вопросов. Социальная история в данном случае не может служить опорой. Скорее наоборот, история представлений о Риме могла бы пролить свет на проблемы социальной истории, которая в таком подспорье явно нуждается.

Я думаю, перед нами материал, в котором нет или мало возможностей для убедительных исторических обобщений. Может быть, это потому, что материал является разноставным и соединяет вместе разные вещи? В этой связи понятие «римская идея» или «римский миф» действительно кажется выходящим из ситуации: вдруг возникающий и относительно устойчивый символ, приходящий на память как юнговский «архетип». В пользу такого рассмотрения темы Рима с ясностью высказывается известный немецкий историк права Мари-Терез Фёген¹⁶⁶. С одной стороны, существует символ. С другой — история. Моя претензия к авторам рецензируемой книги Андре Воше и Андреа Джардина состоит в том, что они не говорят об этом с достаточной ясностью. Сказав «А», они не говорят «Б»: сказав, что тема Древнего Рима существует в виде внеисторических идей, они не хотят заметить, что при этом она изрядно повисает в воздухе. Если внимательно отнестись к нашим историческим свидетельствам, мы повсюду увидим зазор между «римской идеей» или «римским мифом» и жизнью с ее делами, которые надо сделать.

Эпоха Возрождения выглядит временем, когда «римский миф» соединился с жизнью, став ее путеводной звездой. Филиппо Брунеллески потомки назовут главой первого поколения художников Кватроченто. Зодчие эпохи Возрождения были увлечены принципами и канонами античной архитектуры и с предубеждением смотрели на предшествующую готику. Биографы Брунеллески рассказывают о его многолетних исследованиях античных построек в Риме. Но этот опыт не давал возможности спроектировать купол Флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, стены которого не могли выдерживать сплошной несущей конструкции. Тогда Брунеллески избирает каркасно-нервюрную систему готики. Он ставит купол на жестких ребрах, пространства между которыми просто заложены кирпичом. Постройки Брунеллески всякий раз поражают такой оригинальностью, словно они спроектированы разными людьми. Как сказал наш выдающийся архитектор И. В. Жолтовский, никогда нельзя понять, что сделал бы Брунеллески в том или другом случае¹⁶⁷.

¹⁶⁶ См. программу Referenz Rom на сайте Института истории европейского права Общества Макса Планка, в частности: Fögen M. Th., Vismann C. Referenz Rom. Eine Beschreibung des Themas // www.mpier.uni-frankfurt.de/pdf/referenz_rom/beschreibung_referenz_rom.pdf; Fögen M. Th. Referenz Rom in der Evolution von Gesellschaft // www.mpier.uni-frankfurt.de/pdf/referenz_rom/evolution_referenz_rom.pdf. Русский перевод этих и других материалов М. Т. Фёген готовит Е. В. Казбекова.

¹⁶⁷ Габричевский А. Г. Филиппе Брунеллеско // Архитектура СССР. 1947. № 15. С. 40–42.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
РЫЦАРИ-КРЕСТЬЯНЕ ИЗ ОЗЕРА ПАЛАДРЮ	9
КАК Я ПОНИМАЮ ФЕОДАЛИЗМ	19
К ВОПРОСУ О ФОРМАЦИЯХ	35
ДВА ОТКРЫТИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ АРХЕОЛОГОВ	47
ДАРЫ И ОТНОШЕНИЯ	63
РАБОТАТЬ ИСТОРИКОМ	71
История и этнография	74
Корпоративный строй	83
ОТТОКАР И ДРУГИЕ	97
ЭРВИН ПАНОФСКИЙ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ	132
ИЗ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО	143

И. В. Дубровский

**ОЧЕРКИ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ
СРЕДНИХ ВЕКОВ**

REGNUM

Издательский Дом «Регнум»

115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, офис 227

www.ridr.ru

Серия SELECTA

под редакцией *М. А. Колерова*

Подписано в печать 31.08.2010. Формат 60 × 90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,25. Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано в ООО «МТК press».
Ярославль, ул. Промышленная, дом 1, стр. 5.